

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Развитие рабочей идеи. – Создание экономического права

- ГЛАВА I. Политическая способность и её условия. – Способность действительная и законная. – Сознание и идея
- ГЛАВА II. Чем отличается рабочий класс с 1789 года от буржуазии и как, поэтому, он дошел до самосознания. – Разврат буржуазной совести
- ГЛАВА III. Выяснение рабочей идеи. – 1. Система Люксембургская
- ГЛАВА IV. Система взаимности или манифеста. – Идея взаимности выработана массами новейшего времени совершенно самостоятельно. – Определение её
- ГЛАВА V. Историческая судьба идеи взаимности
- ГЛАВА VI. Могущество идеи взаимности; её всеобщее применение. – Самый элементарный принцип нравственности стремится сделаться основанием экономического права. – Первый пример: страхование

- ГЛАВА VII. Экономический закон предложения и спроса. – Насколько этот закон должен быть исправлен принципом взаимности
- ГЛАВА VIII. Приложение принципа взаимности к труду и заработной плате. – О честной торговле и ажиотаже
- ГЛАВА IX. Законодательные стремления к взаимности
- ГЛАВА X. Уменьшение квартирных цен принципом взаимности
- ГЛАВА XI. Приложение закона взаимности к условиям перевозки. – Отношения между отправляющими товар, комиссионерами, подводчиками и приемщиками по экон-му праву. – Ж/д и общественные занятия
- ГЛАВА XII. О взаимном кредите
- ГЛАВА XIII. Об ассоциации, основанной на взаимности
- ГЛАВА XIV. О взаимности в правительстве. О тождестве политического и экономического принципов. Как решает рабочая демократия задачу сочетания свободы с порядком
- ГЛАВА XV. Возражение против политики взаимности. Ответ. Первая причина упадка государств. Отношение политических учреждений к экономическим в новой Демократии
- ГЛАВА XVI. Буржуазный дуализм: конституционный антагонизм. – Решительное превосходство рабочей идеи

ГЛАВА I. Политическая способность и её условия. – Способность действительная и законная. – Сознание и идея

С вопросом о представительстве рабочих, решенном отрицательно, тесно связан вопрос о политической способности работников или, употребляя более общее выражение, народа. Способен ли народ, которому революция 1848 предоставила право голоса, быть судьей в политических вопросах, т. е. во-первых, может ли он составить по вопросам, занимающим общество, свое самостоятельное мнение, сообразное с его выгодой, его положением и его будущностью? Во-вторых, может ли он произнести по этим вопросам, подлежащим прямо или косвенно его суду, основательный приговор; наконец, в-третьих, способен ли он определить исходную точку своих действий, выразить свои идеи, взгляды, надежды и привести в исполнение свои планы?

Если так, то нужно, чтобы народ при первой возможности доказал эту способность. Для этого ему следует определить свой принцип так, чтобы резюмировать в нем все свои идеи, как обыкновенно делают все преобразователи обществ и как недавно пытались сделать авторы манифеста; затем этот принцип должен быть утвержден единогласно; в случае надобности, если бы пришлось избирать себе представителей в советы страны, то народ должен избрать в это звание таких людей, которые умели бы выразить его мысль, говорить его именем, поддерживать его права; которые были бы преданы ему душой и телом; о которых он мог бы сказать, не рискуя обмануться: это кость от костей моих, плоть от плоти моей.

В противном случае народ поступит благоразумнее, если продлит свое вековое молчание и перестанет участвовать в выборах. Этим поступком он окажет услугу как обществу, так и правительству. Сложив с себя власть, возложенную на него всеобщей подачей голосов и

доказав таким образом свое уважение к общественному порядку, он поступит гораздо честнее и благоразумнее, чем, подавая, по примеру буржуазии, свои голоса за знаменитых эмпириков, которые хвалятся своим безграничным влиянием на общество, хотя вовсе не знают его. Если народ не сознает своей собственной мысли или, сознав ее, беспрестанно отступает от неё, то ему остается только молчать. Пусть синие и белые грызутся между собой; народу же, как ослу в басне, остается смирно нести свое бремя.

Одарен ли народ политической способностью? Таков, повторяю, неизбежный вопрос, поднятый кандидатурой рабочих, вопрос, требующий немедленного ответа. Надо отдать справедливость шестидесяти: они смело отвечали утвердительно. Но за то какую бурю возбудили они против себя и в журналах, мнимых органах демократии, и между кандидатами, и даже между своими сотоварищами. Всего прискорбнее здесь положение самой рабочей массы в таком решительном для неё случае. Вслед за манифестом явился контрманифест, подписанный восьмьюдесятью работниками. Эти восемьдесят человек открыто протестуют против самонадеянности шестидесяти, говорят, что они вовсе не выразили народную мысль, упрекают их за поднятый ими социальный вопрос, тогда как дело шло лишь о вопросах политических; упрекают их за то, что они сеют раздор, тогда как следовало проповедывать союз; за то, наконец, что они хотят восстановить касты, вместо того чтобы стараться сглаживать неравенство. в заключение они говорят, что свобода в настоящее время есть единственное завоевание, к которому следует стремиться. «Пока нам не дадут свободы, говорят они, будем думать только о том, чтобы завоевать ее». Я полагаю, что люди эти, как граждане и как работники, не хуже и не лучше других. Они, конечно, не отличились ни особенной оригинальностью, ни особенным рвением, и, судя по аргументам, которые они приводят, можно заключить, что они с успехом пользовались уроками *Presse*, *Temps* и *Siècle*, так что заискивания Жирандена и Ко. не пропали даром.

Французский народ страдает иногда припадками смирения. Обыкновенно щекотливый и тщеславный, он доходит иногда до самоунижения. Отчего этот народ, жаждущий верховной власти, так нетерпеливо желающий воспользоваться своим избирательным правом, народ, вокруг которого увивается целая стая черных фраков, этих подлипал кандидатов – отчего этот народ так пренебрегает людьми своего сословия? Между рабочей демократией существует очень много людей образованных, умеющих владеть пером и языком, знакомых с делом, в двадцать раз более способных и, главное, более достойных быть представителями народа, чем все эти адвокаты, журналисты, писатели, педанты, интриганы и шарлатаны, которых он выбирает. Он не хочет иметь их своими представителями. Демократия гнушается депутатами действительно демократическими. Она ставит себе за честь иметь представителями людей с аристократическим оттенком. Уж не думает ли она облагородиться через это? Если народ созрел для верховной власти, то зачем же он прячется за своих отставных опекунов, которые уже не покровительствуют ему и ни в чем не могут помочь ему? Зачем он, как стыдливая девушка, опускает глаза перед своими нанимателями[10]. Зачем, наконец, поставленный в необходимость выразить свою идею и заявить на деле свою волю, он так рабски подражает своим прежним патронам и даже повторяет их любимые изречения.

Все это, надо сознаться, сильно говорило бы против эмансипации пролетария, если бы дело не объяснялось просто новизною положения.

С самого начала обществ народ находился в зависимости от богатых классов, следовательно, подчинялся им в умственном и нравственном отношении, и это зависимое положение оставило на нем глубокие следы. Революция 89 разбила эту иерархию; народ почувствовал свою независимость и сознал себя. Но ему до сих пор еще трудно отделаться от привычки во всем уступать этим людям. Понятие, которое народ составил себе о том, что называется политической способностью, крайне ошибочно и односторонне. Он ставит выше других смертных тех, кто в старину были его господами, кто теперь сохранил над ним привилегию занимать профессии, именуемые либеральными, хотя давно бы пора лишить их этого названия. Прибавьте к этому зависть, которую чувствует всякий простолюдин к тем из своих собратьев, которым удалось возвыситься над своей средой.

После этого нет ничего удивительного, если народ, несмотря на перемену в образе жизни, несмотря на то, что преобразовались и его сознание, и основные идеи, которыми он руководствуется, все еще сохранил привычку к самоотвержению. Нравы, как и язык, не меняются с переменою религии, законов и права. Мы еще долго будем друг для друга милостивыми государями и всепокорнейшими слугами, но из этого не следует, чтобы на самом деле существовали господа и слуги.

Оставим же в стороне обожание, коленопреклонение и всякое суеверие, и постараемся на основании идей и фактов определить, какова в самом деле политическая способность рабочих классов сравнительно с классом буржуазии, и в чем состоит их будущее значение.

Здесь следует заметить, что способность, когда дело идет о гражданине, бывает двух родов: способность законная и способность действительная; первая дается законом и предполагает вторую, потому что невозможно, чтобы какой нибудь законодатель признал право за людьми, которых считает от природы неспособными пользоваться им. Например до 1848, чтобы быть избирателем, нужно было платить 200 франков прямых налогов. Стало быть, тогда считали собственность гарантией действительной способности. Вследствие этого 250,000 или 300,000 человек, платящих 200 и более франков, признавались единственными людьми, способными наблюдать за действиями правительства и направлять его политику. Это очевидная ложь, так как ничто не доказывает, чтобы между тогдашними избирателями не было, и даже в большом количестве, людей, по природе неспособных, несмотря на вносимые ими подати, точно также, как ничто не доказывает, чтобы вне этого круга между столькими миллионами граждан не нашлось множества способных людей.

1848 год, так сказать, перевернул эту систему введением всеобщей и прямой подачи голосов, без всякого ценза. Этой простой реформой все народонаселение мужского пола, достигшее 21 года, родившееся во Франции и имеющее в ней оседлость, признано законом – политически правоспособным. Правительство еще раз предположило, что право избирателя и известная степень политической способности нераздельно связаны с званием мужчины и гражданина. Но это очевидно новая фикция. Почему право избирательства должно быть скорее преимуществом гражданства, возраста, пола и места жительства, чем привилегией собственности? Достоинство избирателя в нашем демократическом обществе соответствует дворянскому достоинству феодальных времен. Каким образом может оно быть раздаваемо без разбору всем и каждому, когда дворянство давалось лишь немногим? Здесь уместно сказать, что всякое достоинство, как скоро оно принадлежит всем, теряет свое значение, и

что то, что принадлежит всем, в сущности не принадлежит никому. Впрочем самый опыт уже доказал справедливость моих слов: чем более распространяется избирательное право, тем менее придают ему значения. Доказательством этого служит число отказывающихся участвовать в баллотировке; их было 36 на 100 в 1857 и 25 на 100 в 1863. Нет сомнения, что наши десять миллионов избирателей как по уму, так и по характеру стоят несравненно ниже 300,000 цензовых июльской монархии.

Итак, раз приняв на себя обязанность рассмотреть политическую способность с исторической и философской точки зрения, мы должны, волей, неволей, оставить факции, и обратиться к действительной способности. Мы ею одной и займемся.

Для признания какого нибудь лица, корпорации или общества политически способными, нужно, чтобы они удовлетворяли трем условиям:

1. Чтобы данное лицо или общество сознавало себя, то есть понимало свое достоинство, знало себе цену, место занимаемое им в обществе, роль, которую оно в нем играет, должность, которую оно может занимать, интересы, которые оно представляет или олицетворяет.
2. Как результат этого самопознания, лицо или общество должно проводить свою идею, т. е. должно уметь заявить ее, выразить словами, объяснить её смысл, принцип, последствия, доказать её основание.
3. Оно должно, в случае надобности и по требованию обстоятельств, делать практические выводы из той основной идеи, которую оно исповедует.

Заметьте, что здесь нельзя ничего ни сбавить, ни прибавить. Одни люди чувствуют живее других, сильнее сознают себя, быстрее схватывают мысль и с большим умением и энергиею выражают ее, чем другие, или обладают такою силою творчества, какой редко достигают и самые сильные умы. Эти различия в интенсивности сознательной способности, мысли и применении её, составляют степень таланта, но не сущность самой способности. Таким образом, всякий верующий во Христа, исповедующий догматы его религии и следующий её уставам, есть христианин и потому способен достичь вечного блаженства; но это нисколько не мешает тому, чтобы между христианами были книжники и люди неученые, аскеты и малодушные.

Таким же образом и политическая способность не выражает собою особой способности к управлению государственными делами, к той или другой общественной должности; она не выражает исключительной преданности гражданству. Все это, повторяю, дело таланта и специальности: под политическою способностью гражданина, часто молчаливого, сдержанного, не имеющего общественной должности, я разумею нечто совершенно иное. Обладать политическою способностью значит сознавать себя членом общества, быть солидарным с выражаемой им идеей и стремиться к её осуществлению. Всякий, обладающий этими тремя условиями – политически способен. Так, все мы сознаем себя французами; мы верим в какую нибудь конституцию, в предназначение нашей страны, и для этих целей поддерживаем своими напутствиями и голосами ту политику, которая, по нашему мнению, всего вернее выражает наше чувство и всего лучше служит нашим убеждениям. Чувство патриотизма может быть в каждом из нас более или менее развито; но

сущность его одна и та же; отсутствие его всегда уродство. Словом, мы обладаем сознанием, идеей и стремимся к их осуществлению.

Так, вся задача политической способности рабочего класса как и среднего сословия и как некогда дворянства выражается следующим:

1. достиг ли рабочий класс, с точки зрения своих отношений к обществу и государству, самосознания? Отличается ли он, как лицо юридическое, нравственное и свободное, от среднего сословия? Отделяет ли он свои интересы от интересов буржуазии, и хочет ли он не смешиваться с нею?
2. имеет ли рабочий класс какую нибудь идею, т. е. создал ли он себе понятие о своем положении? Знает ли он законы, условия и формулы своего существования? Предвидит ли он свое предназначение, свою цель? понимает ли он свое отношение к государству, нации и мировому порядку?
3. наконец, в состоянии ли рабочий класс вывести из своей идеи по отношению к организации общества свои собственные, практические заключения, и в состоянии ли он, в случае упадка или отступления буржуазии, имея в своих руках власть, создать и развить новый политический порядок вещей?

Вот что такое политическая способность. Само собой понятно, что мы говорим только о действительной способности, способности коллективной, порождаемой самой природой и обществом, и проистекающей из умственного развития человечества; способности, которою, несмотря на неравенство таланта и сознания, обладают в одинаковой степени все индивидуумы и которая не может сделаться ничьей привилегией; способности, встречающейся во всех религиозных общинах, сектах, корпорациях, кастах, партиях, государствах, национальностях и т. д.; способности, которую не может создать законодатель, но которую он обязан отыскивать и которую он во всяком случае всегда предполагает. Согласно этому определению политической способности, я отвечу относительно рабочего класса и независимо от всех оплошностей и бараньих манифестаций, которые мы видим к сожалению ежедневно:

На первый вопрос: Да, рабочий класс сознает себя, и мы можем даже определить, с каких пор он пришел к этому самосознанию, а именно с 1848 года.

На второй вопрос: Да, рабочий класс обладает идеей, соответствующей его самосознанию, и идея эта находится в прямом противоречии с идеей буржуазии; можно только сказать, но она не была еще вполне выяснена ему, и он еще не преследовал её во всех её последствиях и не успел сформулировать её.

На третий вопрос, относительно политических применений этой идеи, я скажу: Нет, рабочий класс, уверенный в себе и уже в половину понявший принципы, составляющие новое верование, еще не пришел к тем общим практическим выводам, к которым они приводят; у него еще нет собственной политики: доказательством этому служит его подача голосов за одно с буржуазией и разные политические предрассудки, которых он придерживается.

Скажем без школьного фразерства, что рабочий класс только что еще вступает в политическую жизнь: благодаря принятой им инициативе и своему численному превосходству, он переместил центр тяжести политического мира и встревожил экономический порядок; но вследствие хаоса в понятиях его, а, главное, вследствие правительственного фантазерства, перешедшего к нему от буржуазии, находящейся in extremis, он не сумел еще утвердить свое преобладание, отсрочил свое освобождение и до некоторой степени скомпрометировал свою будущность.

ГЛАВА II. Чем отличается рабочий класс с 1789 года от буржуазии и как, поэтому, он дошел до самосознания. – Разврат буржуазной совести

С целью лишить на деле рабочий класс той способности, которая была по праву признана за ним всеобщей подачею голосов, журналы, особенно журналы демократической оппозиции, пустили в ход самую грубую хитрость. Едва только вышел манифест шестидесяти, как вся пресса стала хором протестовать против притязания рабочих составить самостоятельное сословие. Стали толковать докторальным тоном, благоговейно ссылаясь на оракулов революции, что с 89 года не существует более каст; что идея о представительстве рабочих стремится воскресить их; что если рационально допустить к народному представительству простого рабочего, как допускают инженера, ученого, адвоката, журналиста, то только с условием, чтобы этот рабочий был, подобно своим собратьям по законодательному корпусу, представителем целого общества, а не особого класса; что иначе кандидатура такого рабочего носила бы ретроградный и разъединяющий характер; что она пошла бы против прав и вольностей 89 года и исказила бы публичное право, общественный порядок и нарушила бы общее спокойствие, возбудив в среде буржуазии недоверие, страх и злобу. Недоставало еще, чтобы манифест шестидесяти, который по своему смыслу и выводам действительно клонился ко вреду оппозиции, был принят за полицейскую проделку.

Авторы манифеста предвидели это обвинение своих противников и протестовали заранее против клеветы; однако надо заметить, что их оправдание было не совсем удовлетворительно. Если бы они признали различие сословий, то возбудили бы против себя политиков буржуазной партии и сочли бы себя потерянными; в случае же отрицания этого различия, их спросили бы: к чему же представительство от рабочего класса? – Такова дилемма, которую я теперь намерен разрешить.

Указывая на неудовольствие буржуазии, противники манифеста впадали в противоречие, сами того не замечая, и высказывали глубокую истину, которую манифесту следовало заявить громогласно. Хотя в наше время уже нет дворянства, а духовенство представляет собою только особый разряд чиновников, но все признают охотно существование буржуазии: можно ли отрицать действительность? На чем, в таком случае, основывалась бы система орлеанистов? Что такое была бы конституционная монархия и парламентская политика? Чем бы объяснить тогда враждебное настроение известного рода людей против всеобщей подачи голосов?... При всем том не хотят признать, что, кроме буржуазии, существует класс рабочий; как объяснить подобную непоследовательность?

В тот самый 89 год, когда освящено было новое право и стали исчезать старые классы дворянства, духовенства и среднего сословия, класс рабочий или пролетариат отделился от буржуазии, как не отделялся еще никогда, даже во времена феодальные. Вот чего не заметили наши публицисты оппозиции при всем своем обожании идей 89 года. Они не заметили что, до 89 года рабочий принадлежал к корпорации и цеху, как женщины, дети и слуги принадлежали к семейству. Тогда, конечно, нельзя было предполагать отдельного существования сословия рабочих, потому что класс предпринимателей совмещал его в себе. Но как с 89 года корпорации были уничтожены, а состояние рабочих и хозяев не уравнилось, и не было ничего ни придумано, ни сделано для распределения капиталов, организации промышленности и прав рабочего народа, – то само собою установилось различие между классом хозяев, владеющих орудиями труда, капиталистов и крупных собственников, и сословием простых наемных рабочих.

Отрицать теперь это различие двух классов, значило бы более, чем отрицать тот разрыв, который произвел это различие и был сам по себе вопиющей несправедливостью. Это значило бы отрицать экономическую, политическую и гражданскую независимость рабочего – единственное вознаграждение, которое он получил; это значило бы уверять, что свобода и равенство 89 года не были дарованы ему на тех же основаниях, как и буржуазии; следовательно, это значило бы отрицать, что рабочий класс, существуя при совершенно новых условиях, без солидарности с буржуазией, способен сознавать себя и заявлять свою волю; это значило бы наконец объявить, что рабочий класс от природы лишен политической способности! Вот тут-то и необходимо доказать действительность этого различия, потому что только оно придает значение представительству рабочего класса; иначе это представительство утрачивает всякий смысл.

Как! Разве не правда, что, вопреки революции 89 года или, вернее, в силу этой революции, французское общество, состоявшее прежде из трех каст, разделяется теперь, после ночи 4 августа, на два сословия: одно живет исключительно своим трудом, и ему на семейство, из четырех человек приходится круглым числом в год менее 1250 фр. задельной платы (я принимаю сумму 1250 фр. на каждое семейство за приблизительно среднюю цифру всего дохода или производства нации); другое сословие, даже когда трудится, живет не на счет своего труда; оно живет доходами с своей собственности, с своих капиталов, пенсий, акций, должностей и привилегий. На основании распределения капиталов, работ, привилегий и производств, у нас существуют, как и в былое время, только на других началах, две категории граждан; в просторечии их называют буржуазиею и чернью, капитализмом и наемщиною. Эти две категории людей, которые прежде были соединены и почти смешаны,

благодаря феодальному покровительству, глубоко разъединены в наше время, так что между ними остались только отношения, определенные уставом о найме и промышленности. И это неизгладимое разъединение составляет основание всей современной политики, общественной экономии, промышленной организации, истории и даже литературы; только крайняя недобросовестность и тупоумное лицемерие могут отрицать эту истину.

Так как разделение современного общества на два класса – на наемных тружеников и собственников-капиталистов-подрядчиков – совершенно неоспоримо и слишком очевидно, то следствием его было обстоятельство, которое никому не должно казаться удивительным: возник вопрос – порожден ли такой порядок вещей необходимостью или случаем? составляет ли он истинный результат революции? может ли он представить законные основания своего фактического существования? Одним словом, не может ли более правильное приложение законов экономии и справедливости уничтожить это опасное разъединение и слить оба новые сословия в одно, обладающее полным равновесием сил?

Для философов этот вопрос далеко не новость; но в рабочих классах он должен был зародиться в тот день, когда посредством всеобщей подачи голосов политическая революция поставила их в уровень с буржуазией и заставила их таким образом увидеть противоположность между их политическим господством и социальным положением. Только в таком случае, предложив себе этот великий общественный и экономический вопрос, рабочие классы могли прийти до самосознания; они должны были бы сказать себе словами Апокалипсиса, что тот, кому принадлежит царство, должен пользоваться его выгодами: *Dignus est accipere divitiam, et honorem, et gloriam*; тогда они предъявили свои притязания на представительство и на управление. Вот как в последние 16 лет сословие чернорабочих тружеников стало добиваться политических прав; и этим то Французская демократия XIX века отличается от всех прежних демократий.

Манифестом своим шестьдесят заняли то положение, которое дали им народная жизнь и общественное право; они высказали это от полноты своего рабочего сознания. Будучи убеждены, что вопрос может и должен решиться в смысле утвердительном, они умеренно, но твердо указали на то, как долго обходили этот вопрос и что настало время заняться решением его. Не пускаясь в исследование того, практично ли таким путем требовать своего права и согласен ли такой образ действий с их идеею, они предложили, в знак желанья снова поднять этот вопрос, представительство одного из рабочих; по их мнению, рабочий, по самому положению своему, как рабочего, будет лучше всех представлять интересы рабочего сословия.

Я утверждаю, что такое предложение в связи с другими подобными фактами последних 16 лет, доказывает, что сословное чувство пробудилось в рабочем классе небывалым доселе образом. Оно доказывает, что половина и более французской нации вступила на политическое поприще и внесло с собой туда идею, которая рано или поздно совершенно преобразует общество. И вот, за то, что горсть людей попыталась выразить это сознание и эту идею, их обвиняют в намерении восстановить касты! Их устраняют от национального представительства, как ретроградов, людей опасного образа мыслей; на манифест их указывают как на попытку возбудить в гражданах взаимную ненависть. Журналы выходят

из себя; мнимо-демократическая оппозиция раздражается взрывом негодования; устраиваются контр-манифесты; с напускным пренебрежением спрашивают, не воображают ли авторы манифеста, что лучше знают свои права и выгоды, и сумеют лучше защитить их, чем г. г. Мари, Ж. Фавр, Э. Оливье, Ж. Симон, Пельтан. в среде общества обнаруживается общественный факт, имеющий громадное значение: самое многочисленное и самое бедное сословие, бывшее доселе в пренебрежении, потому что не сознавало само себя, вступает в политическую жизнь. А глашатаев этого события, рабочих, свидетельствующих о нем, предают злобе буржуазии, как нарушителей общественного спокойствия, как злоумышленников, как орудие полиции! Шуты!

Событие это тем знаменательнее, что установленный нами принцип необходимости для каждого собрания людей – касты, корпорации иди племена – обладать самосознанием, чтобы составить из себя государство или чтобы принять участие в управлении обществом и возвыситься до политического существования, – что этот принцип, говорю я, может быть принят, как закон, общий всем народам и применимый к истории любой нации. Некоторое время римские плебеи не имели самосознания; они были клиентами патрициев и управлялись последними по положениям семейного права. Достигнув полного самосознания и, вследствие этого, признав равенство свое с патрициями, они потребовали участия в брачных союзах, в жертвоприношениях и в почестях; они получили трибунов, veto которых останавливало сенатские решения; они добивались сообщения им формул; они достигли собственности разделом завоеванных областей и *ageris publici*. к несчастью, как я уже заметил (часть I, гл. II, № 1), от самосознания они не умели возвыситься до сознания нового закона. Это было делом христианства.

В Англии, как и во Франции, рабочие классы достигли до сознания своего положения, права, назначения. Они соединяются, организуются, приготавливаются к промышленной конкуренции и не замедляют потребовать своих политических прав решительным установлением всеобщей подачи голосов. По словам одного писателя, рабочее население Англии, пользуясь средством, предоставляемым ему английскими законами и недавно допущенным нашим законодательством у нас, а именно, средством коалиции, составляет организацию в шесть миллионов человек. А наши рабочие ассоциации заключают в себе меньше 100,000 лиц. Что за раса, эти упорные, неукротимые Англо-Саксы, идущие к своей цели медленно, но верно, которым в великих экономических и общественных вопросах если не всегда принадлежит слава изобретения, за то так часто честь первого осуществления!

История французской буржуазии в течение последних 100 лет подтверждает этот закон, хотя, правда, с другой точки зрения и в совершенно противоположном смысле. Едва возник феодализм, как городское, промышленное и торговое население пришло к самосознанию, и результатом этого было учреждение коммун. Пока буржуазия имела перед собой только два первые сословия, духовенство и дворянство, сознание это сохранялось в полной силе; мещанское сословие отличалось, определялось, чувствовало себя, утверждало себя своим противоположением привилегированным сословиям. Генеральные штаты 89 г., где вначале оно было удалено на задний план, решили дело. С этих пор духовенство и дворянство обратились в политическом отношении в ничто; среднее сословие, по выражению Сизэйса, стало все. Но заметьте: как скоро буржуазия стало все, то вне её уже не могло ничего быть; не могло существовать другого сословия, кроме её; её уже ничто не определяло, и она

начала утрачивать самосознание, которое омрачилось и ныне почти угасло. Я просто только указываю на этот факт, не выводя из него никакой теории.

Что такое буржуазия с 89 года? Каково её значение, её существование, какова её общественная роль? Каковы те интересы, которых представительницею она служит? Что кроется в глубине этой двусмысленной, полулиберальной, полуфеодальной, совести? В то самое время, когда бедное, невежественное рабочее сословие, лишенное влияния и кредита, выдвигается вперед, выясняет свое положение, заговаривает о своей эмансипации, о своем будущем, о перестройке общественных отношений, которая должна изменить его теперешнее положение и освободить рабочих всего мира, – в то самое время богатой буржуазии, которая обладает собственностью, знаниями и могуществом, решительно нечего сказать о самой себе; с тех пор как она вышла из своей прежней сферы, она как будто лишилась будущности и исторической судьбы; она потеряла и мысль, и волю. Бросаясь из революционерства в консерватизм, от республиканских идей в легитимизм, доктринерство и умеренность, влюбляясь на минуту в представительные формы парламентаризма, чтобы вслед за тем потерять даже самую способность понимать их, не зная какой системы держаться, какое правление предпочитать, держась за власть только ради выгод, только из страха неизвестности и для сохранения своих привилегий, отыскивая в общественных обязанностях только новое поле и новые средства для эксплуатации, жадно добиваясь отличий и денег, презирая пролетариат гораздо сильнее, чем дворянство когда-либо презирало среднее сословие, – буржуазия потеряла всякий определенный характер; она не составляет по прежнему сословия, сильного численностью, трудом и дарованиями, мыслью и волею, сословия, которое производит и размышляет, повелевает и управляет; она превратилась в сброд, в меньшинство, которое занимается торгашеством и биржевыми спекуляциями.

В последние 16 лет она как будто приходит в себя и начинает опоминаться; ей хотелось бы снова заявить себя, захватить прежнее влияние. Но для этого нужна энергия совести, сила мысли, пламенность сердца, а вместо этого на лицо оказывается только холод смерти и бессилие старости. Надо заметить еще вот что: кому современная буржуазия обязана этим усилием над собою, этими заявлениями бессодержательного либерализма, этим ложным возрождением, в которое Законная Оппозиция, быть может, заставила бы верить, если бы его коренной недостаток не был слишком хорошо известен? к кому отнести этот проблеск разума и нравственного чувства, которому однако не удастся осветить и оживить мир буржуазии? Всем этим буржуазия обязана единственно проявлениям того юного сознания, которое отрицает новейший феодализм; утверждению того чернорабочего сословия, которое решительно берет верх над старым патронатством; требованиям тех самых рабочих, которым тупоумные политики отказывают в правах, принимая в тоже время из их же рук свое политическое полномочие!..

Известно ли это буржуазии или нет, все равно – роль её кончена; она не может идти далеко и не в состоянии возродиться. Но пусть она с миром испустит дух! Возвышение рабочего класса не поведет за собою устранения буржуазии: рабочий класс не заменит буржуазию в её политическом преобладании, привилегиях, собственности и правах, и буржуазия не станет на место рабочего класса. Теперешнее, весьма ясно обозначившееся различие между обоими классами, – рабочим классом и буржуазиею – не более, как простой революционный

случай. Оба класса должны слиться и поглотить друг друга в высшем сознании; а днем этого окончательного слияния будет тот день, когда рабочее сословие, составляя большинство, получит власть и, вдохновленное новым правом и формулами науки, провозгласит общественную и экономическую реформу. Народности, которые долго жили только одним антагонизмом, должны основать отныне на новых данных свою политическую жизнь и независимость.

ГЛАВА III. Выяснение рабочей идеи. – 1. Система Люксембургская

Утверждая свое право и освобождая свою силу, рабочая демократия должна непременно стремиться к тому, чтобы не только выразить свою идею, но и определенно выяснить кодекс своих учений; таким образом она покажет миру, что то сословие, которому неотемлемо принадлежат право и власть, приобрело себе и знание путем разумной и прогрессивной практики. Вот та цель, которую я себе задал в этом сочинении. Отдавая свой предварительный труд на обсуждение демократического мнения, – я хотел теперь же дать эманципации рабочего класса высокую санкцию науки: делаю я это не потому, чтобы думал навязывать кому бы то ни было свои мнения; но я убежден, что, хотя наука, особенно та, которая имеет дело с обдумантыми действиями и самопроизвольными проявлениями масс, и не поддается импровизациям, ей тем не менее необходимы постоянно возобновляемые синтетические обзоры, не вредящие своим личным характером никаким принципам, ничьим интересам.

Когда в человеческих обществах пробуждается сознание, т. е. право, за ним должно следовать откровение идеи. Таков закон природы, и он объясняется психологией. У мыслящего существа чувство является основанием и первым условием разума. Чтобы дойти до самосознания надо прежде чувствовать себя: оттого-то французские правительства так старательно преследовали и запрещали народные сборища, сходки, собрания, ассоциации, словом все, что могло пробудить сознание в низших классах. Им хотят помешать размышлять и толковать между собою; самое верное средство для этого помешать им чувствовать себя. Пусть они принадлежат к семейству, как лошади, бараны, собаки; лишь бы только смутно сознавали себя, как расу и совсем не сознавали себя, как сословие; лишь бы к ним не проникала идея: тогда, если только откровение не блеснет перед ними извне, рабство их будет упрочено на неопределенное время.

Во Франции в 1789 году народ восстал заодно с буржуазией, с которою он связан единством крови и достоинства, общностью религии, нравов и идей, и разъединен только экономическими отношениями, которые выражаются в двух словах: капитал и наемщика. Но народ предчувствовал, что революция совершится не столько в его пользу, сколько в пользу буржуазии, и это предчувствие ясно выразилось в поджоге дома Reveillon и в других подвигах печального насилия. Подозрение низшего класса оправдалось; рядом с партиями фельянов, конституционистов, жирондистов, якобинцев и др., которые все принадлежали к буржуазии, это подозрение породило народные партии или секты, которые под именем

санкюлотов, маратистов, гебертистов, бабувистов приобрели в истории страшную известность, но обладали по крайней мере тем неотъемлемым достоинством, что с 92 до 96 года дали сознанию низших классов такой толчок, после которого ему невозможно стало вновь погрузиться в сон.

В тоже самое время началось дело народного подавления. Так как задушить народное чувство было уже невозможно, то принялись сдерживать его сильною дисциплиною, сильным правлением, войною, трудом, отнятием политических прав, невежеством; но невежество заставляло краснеть и потому нашли удобным заменить его таким первоначальным обучением, которое не внушало бы опасений. Status quo рабочих классов и полицейский надзор над ними – вот что составляло предмет постоянной заботливости Робеспьера и его якобинцев, термидорьянской партии, директории, консульства, – словом всех правительств, которые сменялись до нашего времени. Гизо оказался относительно либеральным: оба собрания республики были решительно преисполнены обскурантизма. Бессмысленный заговор! Когда плебейское сознание однажды пробудилось, пролетарию стоило только открыть глаза, только начать прислушиваться, чтобы дойти до своей идеи; его противники сами должны были уяснить ему эту идею.

Действительно, общественный вопрос был поставлен в первый раз не самими рабочими: ученые, философы, литераторы, экономисты, инженеры, военные, чиновники, депутаты, негодяи, промышленники, собственники стали обличать наперерыв друг перед другом аномалии современного общества и совершенно незаметно додумались до самых реформ.

Впродолжение нескольких лет консервативная буржуазия льстила себя надеждою, что рабочие останутся глухи к вызывающему голосу этих нововводителей; но 1848 год доказал ей, что она заблуждалась.

Рабочие классы не отдались никакому вождю: Кабе, диктатор икарийцев, знает это по собственному печальному опыту. Рабочие классы следовали своей инициативе, и сомнительно, чтобы в настоящее время они отказались от неё. в этом и заключается залог их успеха.

Общественный переворот, начатый в 89 году и продолжаемый на наших глазах рабочею демократиею, есть превращение, совершающееся внезапно во всем политическом теле и во всех его частях. Это система, заменяющая собою другую, это новый организм, который становится на место одряхлевшего организма; но такое изменение не может совершиться мгновенно, с тою быстротою, с какою человек скидает старое платье или кокарду; оно не приводится в исполнение волей учителя, располагающего готовой теорией, не осуществляется под диктовку вдохновенного проповедника. Настоящая органическая революция – продукт всеобщей жизни; она имеет, конечно, своих исполнителей и избранников, но ее нельзя назвать чьим-нибудь исключительным делом. Сначала такая революция является элементарной идеей, которая едва пробивается, как зародыш, и на первый взгляд не представляет ничего замечательного, потому что кажется заимствованной у самой обыденной премудрости; но она разрастается неприметно и неожиданно, как жолудь, зарытый в землю, как зародыш в яичной скорлупе, и наполняет мир своими формами.

История полна таких примеров. Что может быть проще римской идеи в её начале: патрициат, клиентство, собственность. Вся система республики, её политика, её волнения, её история – все основано на этом. В идеи империи мы видим ту же простоту: патрициат окончательно уравнен с плебейством, вся власть сосредоточена в руках императора, который эксплуатирует мир во имя выгод народа и находится в зависимости от преторианцев. Это породило императорскую иерархию и централизацию. В 89 году вся революция целиком выражается в праве человека. В силу этого права признается господство нации, королевская власть становится общественной обязанностью, дворянство уничтожается, религия превращается в мнение *ad libitum*. – Мы знаем, как развились, каждое в свою очередь, и христианство, и право человека.

Тоже самое происходит в XIX веке с идеей рабочих классов; явись она при других условиях, она была бы совершенно ничтожна и не имела бы ни законности, ни достоверности.

Что же случилось? Народ дошел до самосознания; он почувствовал себя; вокруг него шумели во имя его, и это пробудило его ум. Буржуазная революция доставила ему политические права. Имея возможность освободить свою мысль без помощи истолкователей, он руководствовался логикой своего положения. Прежде всего народ совершенно отделился от буржуазии и попробовал обратить против неё её же собственные правила; он сделался её подражателем. Потом, наученый неудачей и отказавшись от своей первой гипотезы, он стал искать спасения в самостоятельной идее. Таким образом в рабочих классах выяснились два противоположные мнения, которые еще до сих пор мешают им понять свое положение. Но таков ход политических обращений, таков ход человеческой мысли и науки. Чтобы вернее добиться истины, делают уступки предрассудкам и рутине. Со стороны противников эманципации рабочих смешно считать своими трофеями эти несогласия, составляющая необходимое условие прогресса, даже самой жизни человечества.

Люксембургская система в основании одинакова с системами Кабэ, Р. Оуэна, Моравских братьев, Кампанеллы, Т. Мора, Платона, первых христиан и проч.; т. е. это система коммунистическая, правительственная, диктаториальная, авторитетная, доктринерная; она исходит из того принципа, что личность существенно подчинена обществу; что только от общества зависят жизнь и права отдельного лица; что гражданин принадлежит государству, как дитя семейству; что он находится вполне в его власти – *in manu* – и обязан ему подчиняться и повиноваться во всем.

В силу этого основного принципа верховности общего и подчиненности личного элемента, Люксембургская школа в теории и на практике стремится передать государству или, что то же, общине все: труд, промышленность, собственность, торговлю, народное просвещение, богатство, равно как и законодательство, юстицию, полицию, общественные работы, дипломатию и войну. Затем все это должно быть возвращено и распределено именем государства или общины между всеми гражданами, как членами великой семьи, сообразно с их способностями и потребностями.

Я только что говорил, что рабочая демократия, отыскивая свой закон и противопоставляя себя буржуазии, прежде всего обратила против последней её собственные положения.

Разбор люксембургской системы ясно покажет это.

Что было основным принципом древнего общества? То была власть, нисходящая с неба или выводимая, как у Руссо, из общества. Коммунисты говорили и делали тоже самое. Они относят все к верховной власти народа, к праву общества; их понятие о власти или государстве совершенно тождественно с понятием их древних учителей. Называйте государство империей, монархией, республикой, демократией или общиной, – дело от этого не изменяется. Для людей этой школы право человека и гражданина целиком вытекает из народного самодержавия; самая свобода лица есть отражение этого самодержавия. Коммунисты Люксембурга, икарийцы и проч. могут с спокойною совестью принести присягу Наполеону III: их политическая верования в принципе согласны с конституцией 1852 г., но они несравненно менее либеральны.

От политического строя перейдем к строю экономическому. От кого в древнем обществе получал гражданин свое достоинство, владения, привилегии, прерогативы? От закона, точнее, от верховной власти. Так например, при господстве римского права, потом при феодальной системе, наконец под влиянием идей 89 г., личная собственность была уступкой, даром государства, которое было единственным естественным обладателем земли; в сущности государство одно было собственником, и против этого напрасно было бы приводить всякие доводы, ссылаясь на требования приличия, своевременности, общественного порядка, семейных нравов, даже условий промышленности и прогресса. То же самое видим мы и у коммунистов: по их принципу, личность владеет своими имуществами, способностями, почестями, должностями, даже талантами по полномочию государства. Древнее государство, по необходимости или по расчёту, отчасти отреклось от своей собственности; многие семейства дворян и мещан вышли из первобытной нераздельности и образовали множество мелких государств в государстве. Коммунизм хочет возвратить государству все эти отторгнутые от него клочья власти и владения, так что переворот, выполненный по люксембургской системе, было бы с точки зрения принципа не более как восстановлением старого, то есть регрессом.

Так, подобно армии, захватившей неприятельские пушки, коммунизм только направил на ряды собственников их же собственную артиллерию. Раб всегда обезьянничает господину, демократ подражает автократу.

Независимо от общественной силы, которою партия Люксембурга еще не могла располагать, она предлагает и восхваляет, как средство осуществления, ассоциацию. Идея ассоциации не нова в экономическом мире. Мало того, самые могущественные ассоциации и их теории были созданы именно древними и новыми государствами божественного права. Наше буржуазное законодательство (гражданский и торговый своды) признает несколько родов и видов ассоциаций. Теоретики Люксембурга ровно ничего не прибавили к этому нового. Ассоциация была для них то просто общностью имущества и доходов (гл. 1836 и след.), то простым соучастием или кооперацией, то, наконец, компаниею или товариществом; чаще под рабочими ассоциациями разумели могущественные и многочисленные товарищества рабочих, которым государство помогает, дает заказы и которыми оно управляет, привлекая к себе всю рабочую массу, забирая в свои руки все работы и предприятия, захватывая всю промышленность, земледелие, торговлю, общественные должности, всякую собственность;

уничтожая частные заведения и предприятия; давя, поглощая всякую личную деятельность, всякое частное владение, частную жизнь, свободу, богатство, одним словом, поступая так, как теперь действуют большие анонимные компании.

Таким-то образом, по понятиям люксембургской партии, общественное владение должно уничтожить собственность; общая ассоциация должна ниспровергнуть или поглотить все частные ассоциации; конкуренция, обращенная сама против себя, должна привести к уничтожению конкуренции; наконец, коллективная свобода должна поглотить все корпоративные, местные и личные вольности. В том же духе рассматривался коммунистами вопрос о правительстве, его гарантиях и формах. В коммунистическом понятии о правительстве также мало нового, как в их идеях об ассоциации и правах человека: оно отличалось от прежнего только преувеличением. Политическую систему люксембургской теории можно определить таким образом: это плотная демократия, основанная, по-видимому, на диктатуре масс, но где массы имеют власть лишь настолько, чтобы упрочить всеобщее рабство на основании следующих формул и положений, заимствованных у древнего абсолютизма:

Нераздельность власти.

Всепоглощающая централизация.

Систематическое истребление всякой личной, корпоративной и местной мысли, как разрушающей необходимое единство.

Инквизиционная полиция.

Уничтожение или, по крайней мере, ограничение семейства, а тем более наследственности.

Всеобщая подача голосов, организованная на то, чтобы служить вечною санкцией этой анонимной тирании, давая перевес мелким и даже ничтожным личностям, которых всегда много, над способными и независимыми гражданами, которые объявляются подозрительным меньшинством. Люксембургская школа объявила во всеуслышание, что она враг аристократии ума и талантов.

Между коммунистами есть люди менее нетерпимые, неотвергающие безусловно собственность, промышленную свободу, независимость и самодеятельность таланта; по крайней мере, не запрещающие положительными законами ни обществ, ни союзов, возникших по естественной необходимости, ни частных имуществ и предприятий, ни даже конкуренции частных ассоциаций с рабочими обществами, покровительствуемыми государством. Но они преследуют эти опасные влияния косвенно; они обессиливают, их сплетнями, придирками, налогами и множеством других средств, заимствованных из практики правительств старого закала. Вот эти средства: прогрессивный налог; налог на наследства; налог на капитал; налог на доходы; налог на предметы роскоши; налог на свободные промыслы; с другой стороны: льготы ассоциациям; вспоможествование ассоциациям; поощрение и поддержка ассоциаций; приюты для инвалидов труда, для членов ассоциаций и пр. пр.

Словом это все та же древняя система привилегий, обращенная теперь против тех, кому она прежде приносила выгоды; все та же аристократическая эксплуатация, все тот же деспотизм, только употребляемые в пользу народа. Государство-слуга делается таким образом дойной коровой пролетариата, который пасет ее на лугах и нивах собственников. В результате мы получаем просто перемещение привилегий: высшие классы низвергаются; низшие возвышаются; но об идее, о свободе, о справедливости, о науке нет и помину!

В одном только отношении коммунизм расходится с буржуазной системой: последняя признает семейство, которое коммунизм неуклонно стремится уничтожить! Но почему же коммунизм восстал против брака, требуя, по Платону, свободной любви? Потому что брак и семейство составляют оплот личной свободы, а свобода – камень преткновения для государственной власти. Чтобы упрочить власть государства, чтобы избавить ее от всякой оппозиции, всяких стеснений и помех, коммунизм не видел иного средства, как передать государству или общине жен и детей заодно со всем остальным. Это тоже самое, что еще называют эмансипацией женщины. Во всех этих заблуждениях коммунизму недостает изобретательности; он является простым подражателем. Когда ему представляется затруднение, он не разрешает, а рассекает его.

Такова сущность люксембургской системы, которая имеет сторонников, что неудивительно, так как она лишает буржуазию прав, милостей, привилегий и должностей и передает их в том же виде массам. Образцы и подобию этой системы существуют во всех деспотиях, аристократиях, патрициатах, общинах, больницах, приютах, казармах и тюрьмах всех веков и всех народов.

Следовательно, противоречие между принципами этой системы очевидно, вследствие чего она никогда не могла обобщиться и упрочиться. Она всегда падала от первого толчка.

Предположите на минуту, что власть находится в руках коммунистов. Рабочие ассоциации организованы; налог падает на те классы, которые при настоящем порядке избавлены от него; все остальное переделано в том же духе. в скором времени все лица, чем нибудь владеющие, будут раззорены; государство станет владыкою всего. Что же потом? Не ясно-ли, что община, у которой на шее очутятся все несчастные, раззоренные и ограбленные ею, на которую падет вся тяжесть занятий, предоставленных прежде свободным предпринимателям, будет получать меньше того, что истребила? Не ясно-ли, что она не выполнит и четвертой доли своей задачи; что дефицит и голод не далее как через две недели произведут всеобщую революцию; что все придется начинать с изнова, и дело снова начнется с реставрации?

Вот к чему ведет эта допотопная нелепость, которая тридцать веков ползком перебирается от одного народа к другому, как слизень по цветам. Она соблазняла лучшие умы и знаменитейших преобразователей: Миноса, Ликурга, Пифагора, Платона, Канпанеллу, Мора, Бабефа, Роберта Оуэна, Моравских Братьев и проч.

Следует однако заметить два факта, говорящие в пользу коммунизма: во первых, как первая гипотеза, он был необходим, чтобы приготовить путь для истины; во вторых, он не отделял, как буржуазная система, политику от политической экономии, не смотрел на них,

как на вещи различные и противоположные, но всегда утверждал, что принципы их тождественны; и желал согласить их. Мы возвратимся к этому предмету в следующих главах.

ГЛАВА IV. Система взаимности или манифеста. – Идея взаимности выработана массами новейшего времени совершенно самостоятельно. – Определение её

Полная самостоятельность составляет достойную внимания черту народных движений. Следует ли народ внешнему побуждению или наущению, или же собственному вдохновению, сознанию и идее? – этот вопрос заслуживает самого тщательного исследования при изучении революций. Без сомнения, идеи, волновавшие во все времена массы, рождались прежде в голове мыслителей. В деле идей, мыслей, верований, заблуждений массы никогда не были первыми по времени и, разумеется, не будут первыми и в настоящее время. Во всяком умственном деле первенство принадлежит личности; на это указывает самое взаимное отношение понятий первенства и индивидуальности. Но идея, возникнувшая в уме отдельной личности, трудно проникнуть в массы; идеи, способные увлечь массы, редко бывают вполне справедливы и полезны. Поэтому для историка-философа особенно важно узнать, почему народ более склоняется к одним идеям, чем к другим; каким образом обобщает он их; как развивает он их в своих обычаях и учреждениях, которых держится по преданию, пока законодатели и законники не овладеют заключенными в них идеями и не обратят их в статьи законов и в судебские правила.

Идея взаимности, как и идея общинности, также стара, как и само общество. По временам являлись высокие умы, предугадывавшие её органическую силу и важность; но до 1848 года она никогда не приобретала той важности, какую имеет теперь, когда, по-видимому, ей предстоит первая роль. в этом отношении она сильно отстала от идеи коммунизма, которая, блеснув ярким светом в древнем мире и в средние века, благодаря красноречию софистов, фанатизму сектаторов и могуществу монастырей, – в наши времена, казалось, готова была получить новую силу.

Принцип взаимности был впервые выражен с философскою глубиною и в видах реформы в том знаменитом положении, которое повторяли все мудрецы и которое, по примеру их, наши Конституции II и III годов включили в Объявление прав и обязанностей человека и гражданина:

«Не делай другим того, чего не желаешь себе;

«Делай другим то, чего желаешь от них себе».

Этот, так сказать, обоюдоострый принцип, который всегда уважали и против которого никогда не возражали, начертан, по словам конституции III года, природою во всех сердцах; он предполагает, что человек во первых свободен; во вторых, что он способен к познанию добра и зла; другими словами, что он по самой сущности своей способен к справедливости. Эти две вещи, то есть свобода и справедливость, ставят нас гораздо выше идеи власти, на которую, как мы видели, опирается люксембургская система.

Говоря языком богословов–моралистов, эта великая истина была доселе для народов лишь чем-то в роде совета. Судя по важности, которую она теперь приобретает и потому, как требуют рабочие классы её осуществления, она должна сделаться заповедью, т. е. получить положительно обязательный характер, словом, приобрести силу закона.

Укажем прежде всего на прогресс, совершившийся в этом отношении в рабочих классах. Манифест шестидесяти говорит между прочим: «Всеобщая подача голосов была признанием нашего политического совершеннолетия; но нам еще остается достичь социальной независимости. Свобода, которую так энергически завоевало себе третье сословие, должна распространиться на всех граждан. Равноправность политическая необходимо предполагает равноправность социальную».

Другими словами это значит: «без социального равенства нет равенства политического, и всеобщая подача голосов бессмыслица». Это доказывается не силлогизмом, а уравнением: политическое равенство = социальному равенству. Основной принцип этой новой формулы очевидно свобода личности.

«Буржуазия, достигшая раньше нас независимости, поглотила в 89 г. дворянство и уничтожила несправедливые привилегии. Нам предстоит не уничтожать права, которыми справедливо пользуются средние классы, а завоевать себе одинакую с ними свободу действия».

И далее:

«Мы не мечтаем об аграрных законах, о химерическом равенстве, которое укладывает всех и каждого на прокустово ложе; о дележе, maximum'e, усиленном налоге и проч. Прочь эти обвинения! Пора прекратить эти клеветы, распространяемые нашими врагами и повторяемые невеждами. – Свобода, кредит, солидарность – вот наши мечты».

Он заключает так: «в тот день, когда эти мечты осуществляются, не будет более ни буржуа, ни пролетариев, ни хозяев, ни рабочих».

Все это несколько двусмысленно. В 1789 году у дворян не конфисковали имущества; позднейшие конфискации были делом войны. В 89 г. ограничивались отменой некоторых преимуществ, несовместных с правом и свободой, которые дворянство несправедливо присвоило себе. Эта отмена повлекла за собою уничтожение дворянства, как особого сословия, его поглощение массой общества. Пролетариат, правда, также не требует, чтобы буржуазию лишали приобретенных ею имущества и всех её прав, которыми она пользуется справедливо. Но под юридическими и законными именами свободы, труда, кредита и солидарности он хочет провести некоторые реформы, результатом которых будет, без сомнения, уничтожение прав, привилегий, словом, всего, что составляет исключительную принадлежность буржуазии. Таким образом, теперь стремятся к тому, чтобы не было ни буржуазии, ни пролетариата, то есть, чтобы буржуазия была поглощена в массе общества.

В новую революцию пролетариат точно также поступит с буржуазией, как поступила она с дворянством в революцию 89 г. Как революция 1789 г. была вполне так точно справедлива будет и новая революция, которая примет за образец свою старшую сестру.

Далее манифест развивает свою мысль с возрастающей энергиею.

«Мы не имеем представителей, мы, которые не хотим верить, что нищета – божественное учреждение. Милосердие вполне доказало и само признало свою несостоятельность быть основанием социального устройства. В эпоху народного самодержавия, всеобщей подачи голосов, оно может быть частной добродетелью... и только. Мы не хотим быть ни клиентами, ни опекуемыми; мы хотим быть равными. Мы отвергаем благодеяние и требуем только справедливости».

Смысл этого ясен: мы хотим того же, что получили вы, буржуа, наши старшие братья.

«Наученные опытом, мы чужды ненависти к людям. Мы хотим изменить самый порядок».

Таково заявление, предпосланное представителям, против которых восстала мнимodemократическая оппозиция.

Таким образом авторы манифеста чужды старой коммунистической и буржуазной рутины. Они не хотят ни привилегий, ни исключительных прав; они покинули фантазию абсолютного равенства, которое укладывает человека на прокустово ложе; они стоят за свободу труда, осужденную Люксембургом в вопросе об урочном труде; они признают конкуренцию, также осужденную люксембургской системой, как грабеж; они провозглашают солидарность и ответственность; им не нужно покровительства, не нужно иерархий. Они хотят равенства достоинства, неустанного деятеля экономического и социального уравнения; они отвергают

милостыню и все благотворительные учреждения и взамен их требуют справедливости.

Большинство их члены общества взаимного кредита, взаимного вспоможения, которых, по их словам, тайно существует в столице тридцать пять; распорядители промышленных обществ, откуда коммунизм изгнан и заменен принципами взаимности и соучастия, признанными законом.

Далее, эти рабочие требуют рабочих и хозяйских камер, которые взаимно пополняли, контролировали и уравнивали бы друг друга; исполнительных синдикатов и присяжных экспертов, словом, полного преобразования промышленности под ведением всех участвующих в ней[11].

Во всем этом, говорят они, мы основываемся на всеобщей подаче голосов. Одним из первых и важнейших результатов её должно быть, по их мнению, восстановление естественных рабочих групп, то есть рабочих корпораций. Слово корпорация возбудило особенно сильное негодование; но мы пугаться его не будем. По примеру рабочих, мы будем рассматривать сущность, а не слова.

Все это достаточно доказывает, что рабочие классы проникнулись идеей взаимности и сделали из неё совершенно новые и самостоятельные выводы; что они усвоили ее, глубоко поняли ее и вводят в жизнь далеко не наобум; словом, это доказывает, что она стала их исповеданием, их новым верованием. В движении этом нельзя сомневаться, хотя оно еще очень слабо; ему предстоит поглотить уже не слабую горсть дворянства в несколько сот тысяч душ, а громадную буржуазию, считающую в рядах своих миллионы людей. Ему суждено совершенно возродить все общество.

Рассмотрим теперь самую идею.

Французское слово *mutuel*, *mutuation*, *mutualité*, синоним *récip roque*, *réciprocité*, взаимный, взаимность, происходит от латинского *mutuum*, что значит ссуда (потребляемого продукта), а в более широком смысле – обмен. Известно, что при ссуде на потребление ссужаемый предмет потребляется заемщиком, который потом возвращает уже не тот самый предмет, а другой, равный ему и, одинаков или неодинаков, но во всяком случае равноценный. Предположите, что заимодавец в свою очередь становится заемщиком: здесь будет, следовательно, взаимный заем или обмен: такова логическая связь, заставившая дать одно и то же имя двум разным операциям. Посмотрим же, каким образом эта идея взаимности обмена, справедливости, заменив идею власти, общинности или милосердия, привела в политике и политической экономии к системе отношений, совершенно противоположной нынешнему общественному порядку.

Во первых спросим, под каким именем и вследствие какого влияния идея взаимности впервые овладела умами?

Мы уже видели, как понимает Люксембургская школа отношения человека и гражданина к обществу и государству: по её мнению, это отношение состоит в подчинении. Отсюда организация, основанная на власти и общинности.

Против этого восстают поборники личной свободы, по мнению которых общество должно рассматривать не как иерархию должностей и способностей, а как систему равновесия свободных сил, где всем гарантированы одинаковые права, с условием нести одинаковые обязанности; равные выгоды за равные услуги. Следовательно, эта система существенно основана на равенстве и свободе; она исключает всякое пристрастие к богатству, рангам и классам.

По мнению защитников личной свободы, человеческая природа есть высшее выражение, чтобы не сказать – воплощение всемирной справедливости; поэтому право человека и гражданина непосредственно вытекает из достоинства его природы, как позже благосостояние его прямо вытекает из его личного труда и хорошего употребления своих способностей; умственное же развитие его – из свободного упражнения своих дарований и качеств. Следовательно, государство есть ничто иное, как результат свободного союза людей равных, независимых и правосудных; оно представляет таким образом только сгруппированные вольности и интересы; всякое разногласие между властью и тем или другим гражданином есть в сущности гражданская распря. И так, в обществе нет другой прерогативы кроме свободы, иной верховной власти, кроме права. Авторитет и милосердие отжили свой век, говорят они; вместо их нам нужна теперь справедливость.

Исходя из этих начал, диаметрально противоположных основаниям люксембургской школы, они хотят порядка, основанного на самом широком развитии принципа взаимности. Услуга за услугу, говорят они, прибыль за прибыль, ссуда за ссуду, обеспечение за обеспечение, кредит за кредит, порука за поруку, гарантия за гарантию: таков закон. Это древнее возмездие: око за око; зуб за зуб, жизнь за жизнь, перенесенное из уголовного права и жестокого обычая вендетты в область экономического права, в отношения труда и свободного братства. Отсюда вытекают все учреждения, основанные на взаимности: взаимные страхования, взаимный кредит, взаимное вспоможение, взаимное обучение; обоюдные гарантии сбыта, обмена, труда, доброкачественности, верной оценки товаров и проч. Вот к чему стремится система взаимности, желая с помощью известных учреждений возвести свое начало в государственный принцип, закон, скажу больше – в государственную религию, тем более, что путь к этому для граждан также легок, как и выгоден; что он, не требует ни полиции, ни наказаний, ни гнета и ни в каком случае не может никого обмануть или раззорить.

Здесь рабочий перестает быть рабом государства, поглащаемым коммунистическим океаном; он человек свободный, настоящий властелин, действующий по собственной инициативе и под своей личной ответственностью: он уверен, что получит за свои произведения и услуги настоящую цену, достаточно вознаграждающую его, и встретит в своих согражданах относительно всех предметов своего потребления полную справедливость и гарантии. Точно также государство, правительство, перестает быть властелином; власть здесь не противоречит свободе; она служит здесь к определению свободы, только с другой точки зрения: власть, правительство, государство и проч. являются здесь формулами, заимствованными из старинного языка для обозначения в известных случаях суммы, единства, тождественности и солидарности частных интересов.

Следовательно, здесь уже немыслимы вопросы, как в буржуазной системе или системе люксембургской – должны ли государство, правительство или община господствовать над личностью или быть подчинены ей; должен ли правитель стоять выше гражданина или гражданин выше правителя; угнетает ли власть свободу или служит ей: все эти вопросы – чистейшая бессмыслица. Правительство, власть, государство, община и корпорации, классы, товарищества, города, семейства, граждане, – словом, группы и индивидуумы, нравственные и реальные личности, – все равны перед законом, и только один закон властвует, судит и управляет: *Des potês ho nomos*.

Взаимность предполагает раздел земли, разграничение собственности, независимость труда, отделение друг от друга различных видов промышленности, специализацию отправлений, личную и коллективную ответственность, смотря потому, каков труд, личный ли, или коллективный; она предполагает приведение общих расходов к минимуму, истребление дармоедства, уничтожение нищеты. Община, иерархия, нераздельность, централизация предполагают напротив умножение ведомств и органов власти, подчинение частной воли, потерю сил, развитие непроизводительных занятий, бесконечное увеличение общих расходов, следовательно, развитие тунеядства и нищеты.

ГЛАВА V. Историческая судьба идеи взаимности

Идея взаимности влечет за собою громадные последствия: она ведет между прочим к общественному единству человечества. Эта мечта принадлежит еврейскому мессианизму: но ни одна из четырех великих монархий, обещанных Даниилом, не выполнила эту программу. Везде слабость государства обуславливалась обширностью его пределов: конец римского завоевания был началом разложения. Поделив между собою пурпурные мантии, императоры сами проложили путь восстановлению национальностей. Папы потерпели такую же неудачу, как Александр и Цезари: католицизм не распространился и на половину населения земного шара. Но логика идеи взаимности стремится совершить то, что было не по силам ни могуществу великих империй, ни рвению религии; эта логика действует снизу вверх; она начинается с поработанных классов и вторгается в общество с противоположной стороны, и потому должна восторжествовать.

Всякое общество образуется, преобразуется и изменяется с помощью идеи. Так было в древности и так происходит в наше время. Идея отеческой власти легла в основание древних аристократий и монархий: на ней построены патриархат или восточный деспотизм, римский патриархат и новейший; пифагорейское братство легло в основание республик Критской, Спартанской и Кротонской. Преторьянское самовластие, папская теократия, средневековой феодализм, буржуазный конституционализм – все эти явления знакомы нам по опыту. За одно с ними мы можем назвать страстное притяжение Фурье, двуполое жречество Анфантена, эпикурейский идеализм наших романтиков, контовский позитивизм, мальтузианскую анархию и отрицательную свободу экономистов. Все эти идеи стремятся к господству: их притязание на преобладание не подлежит никакому сомнению.

Но чтобы основать это новое и несокрушимое единство, необходим полезный, общечеловеческий, абсолютный принцип, который стоял бы выше всякого общественного строя и без которого самое существование этого строя было бы совершенно невозможно. Мы находим этот принцип в идее взаимности, которая сама есть ничто иное как идея взаимнообязующей справедливости, прилагаемой ко всем человеческим отношениям и ко всем обстоятельствам жизни.

Весьма замечательно, что до сих пор справедливость оставалась чужда или равнодушна ко множеству таких вопросов, которые требуют её вмешательства. Религия, политика, даже самая метафизика отодвинули ее на второй и на третий план. Все нации выбирали себе в покровительствующие божества или могущество, или богатство, или любовь, или храбрость, или красноречие, или поэзию, или красоту; но никому и в голову не приходило, что Право есть самое великое и сильное божество, стоящее даже выше самого Рока. У древних справедливость была только дочерью Юпитера или, пожалуй, супругой его, но супругой

отвергнутой.

В первое время существования обществ это было совершенно естественно. Руководствуясь воображением и чувствительностью, человек сознает прежде всего те предметы, которые непосредственно касаются его; идеи рождаются в нем гораздо позднее, и из них прежде всего возникают идеи самые конкретные, самые личные, самые сложные, тогда как самые общие и простые идеи, которые вместе с тем всегда самые отвлеченные, начинают пробиваться гораздо позднее. Ребенок прежде всего любит и уважает отца и мать; потом он возвышается до идеи патриарха, князя, первосвященника, короля или царя; от этих личностей он мало по малу отвлекает идею власти; но чтобы возвыситься до сознания, что общество, та великая семья, к которой он принадлежит, есть воплощение Права – на это ему нужно 30 веков.

Одно только несомненно: каков бы ни был принцип, во имя которого основалось общество, каким бы именем оно ни называло свое верховное божество, – оно может существовать только одной справедливостью. Отнимите справедливость – общество тотчас развалится, государство распадется. За отсутствием справедливости самое отеческое правительство превращается в гнусную и нестерпимую тиранию. Идея, которую кладут в основание общественного устройства, не может обойтись без права; отрешаясь от него, она даже теряет всякий смысл, тогда как право существует само по себе и в строгом смысле не нуждается ни в чьей посторонней помощи.

Если идея справедливости примешивается к каждой политической системе и составляет её необходимое условие, то очевидно, что идея эта есть выражение сущности общества; она – самое могущественное божество, её культ – высшая религия, её изучение – самое священное богословие. Она освящает науку и искусство: всякая истина, всякая красота, явившаяся вне её, должны неминуемо обращаться в ложь или заблуждение.

Представим себе религию без справедливости: она была бы чудовищна. Несправедливое божество – синоним Сатаны, Аримана, духа зла; сама церковь говорит нам, что откровение, даже сопровождаемое чудесами, но не имеющее целью совершенствование человека путем справедливости, следовало бы приписать духу тьмы. Любовь без уважения – бесстыдство. Всякое искусство, всякий идеал, которые вздумали бы отрешиться от справедливости и нравственности, заслужили бы название искусства разврата, идеала позора.

Переберите весь ряд человеческих идей, переройте всю сокровищницу духовной и светской науки, и вы не найдете другой идеи, равной справедливости. К ней-то стремится и взывает в наши дни рабочая демократия, благодаря своему живому, хотя еще смутному чутью; её-то и называет она взаимностью. Вот он, тот новый порядок, который, по народному преданию, Французская революция призвана основать, соединив все народы в федерацию федераций. Вот эта религия будущего, религия Справедливости.

Во времена Моисея еврейский народ был доступен лишь идее отеческой власти или патриархата, связанного с властью Всемогущего Бога, Небесного Отца Израиля. Вот почему, несмотря на свое стремление к справедливости, моисеев закон на деле подчиняет её власти отца, царя, первосвященника и религиозному культу.

Позднее, при римской империи, священство, царская власть и аристократия были полны злоупотреблений; но потеряв уважение к ним, народ не мог возвыситься до идеи справедливости. На место искажившейся отеческой и первосвященнической власти было поставлено братское милосердие; была основана евангельская община, церковь.

Уже тогда явилась мысль, что милосердия, которое проповедовали в этой общине, недостаточно, если его не пополнить правом, идеей справедливости. Теперь та же самая мысль руководит нашей демократией, которая говорит устами Шестидесяти «Мы отвергаем благодеяние, мы требуем справедливости».

Сожалею, что принужден так долго занимать читателя этими несколько отвлеченными вопросами. Но повторяю: когда дело идет о революции, которая уже струится в жилах народа, о самой решительной и глубокой из всех происходивших доселе революций, – мне нельзя острить и ветрянничать; говорить о таком явлении надо не иначе, как совершенно серьезно. Пусть те, которые ищут развлечения в разговоре о самых великих интересах, читают ежедневно после обеда по 10 моих страниц и потом с миром отправляются в театр или принимаются за фельетон. Что касается до меня, то я неспособен забавляться справедливостью или шутить над преступлением и нищетой. Если подчас я говорю тоном памфлета, то в этом повинно только мое честное негодование.

Проследив с возможной точностью возникновение идеи взаимности, мы должны теперь рассмотреть её сущность и значение. Если мне не удастся быть кратким, я постараюсь, по крайней мере, говорить ясно и решительно.

ГЛАВА VI. Могущество идеи взаимности; её всеобщее применение. – Самый элементарный принцип нравственности стремится сделаться основанием экономического права. – Первый пример: страхование

Могущество идеи взаимности; её всеобщее применение. – Самый элементарный принцип нравственности стремится сделаться основанием экономического права и новых учреждений. – Первый пример: страхования.

Рабочие классы выдали нам свою тайну. Мы знаем от них же самих, что, остановившись на минуту в 48 году на идеях общинной жизни, общинного труда, государства-семьи или государства-слуги, они скоро распрощались с этой утопией; мы знаем также, что с другой стороны они протестуют решительно против системы политической умеренности и буржуазной экономической анархии и что мысль их сосредоточена на одном принципе,

одинаково приложимым, по их мнению, и к организации государства, и к узаконению интересов. Это принцип взаимности.

Так как эта идея уже выдана на свет божий, то нам нечего обращаться к рабочим классам с вопросом о том, как они понимают свое будущее. На практике они мало подвинулись в последние 6 месяцев; что же касается доучения их, то, зная принцип его, мы при помощи логики можем узнать все выводы, вытекающие из него, и получить такое же полное понятие об учении их, какое имеют они сами. Подобно рабочим классам и даже лучше их, мы можем вдуматься в общечеловеческое сознание, открыть его стремление и показать массам их судьбу. Если бы им пришлось сбиться с дороги, мы можем указать им их противоречия и непоследовательность, короче, их ошибки; потом, прилагая их идею ко всякому данному политическому, общественному и экономическому вопросу, мы можем начертать им план действий, если у них его не окажется. Таким образом, мы укажем им заранее условия их успеха и причины их поражения, напишем заранее их историю в форме диалектического вывода. Цивилизация дошла в наше время до этой точки. Человечество начинает узнавать себя и уже владеет собою настолько, что в состоянии надолго вперед рассчитать свою жизнь; это может послужить превосходным утешением тем, кого огорчает кратковременность жизни и кто хотел бы знать ход мировых событий по крайней мере на несколько сот лет после своей смерти.

Итак, обратимся вновь к идее взаимности и посмотрим, что может из неё сделать рабочая демократия по законам логики и под гнетом обстоятельств.

Заметим прежде всего, что взаимность взаимности рознь. Можно отплачивать друг другу злом за зло, как и наоборот – добром за добро. Можно отплачивать друг другу риском за риск, удачей за удачу, конкуренцией за конкуренцию, равнодушием за равнодушие, милостыней за милостыню. На мои глаза общества взаимного вспоможения, которые существуют в наше время, составляют лишь простую переходную ступень к порядку вещей, основанному на взаимности; они принадлежат еще к категории человеколюбивых заведений и таким образом являются обременительными для рабочего, если он не желает оставаться беспомощным в случае болезни или прекращения работ. К тому же разряду я причисляю ломбарды, лотереи с благотворительною целью, сберегательные и пенсионные кассы, страхование жизни, приюты, сиротские дома, больницы, дома призрения, воспитательные дома, Quinze-vingts, дома инвалидов, общественные грельни и т. д. Уже по одному тому, что сделало или пыталось сделать религиозное милосердие, можно судить, сколько дела предстоит современной взаимности. Общественное бедствие так глубоко, а реформы, которые имеют в виду улучшить судьбу многочисленных бедствующих масс, совершаются так медленно, что все эти благотворительные заведения, быть может, исчезнут еще нескоро. Но тем не менее, они не более как памятники нищеты, а Манифест Шестидесяти сказал нам: «Мы отвергаем благодеяние; мы требуем справедливости».

Истинная взаимность, как мы уже сказали, дает, обещает и гарантирует услугу за услугу, ценность за ценность, кредит за кредит, гарантию за гарантию; заменяя всюду суровым правом дряхлеющую благотворительность, законностью договоров произвол обменов, устраняя всякое поползновение к лихоимству, всякую возможность ажиотажа, приводя к простейшему выражению всякий неизвестный элемент, распространяя риск на всех, –

истинная взаимность систематически стремится организовать самый принцип справедливости и обратить его в целый ряд положительных обязанностей и материальных ручательств.

Чтобы уяснить свою идею примерами, я возьму сперва самый известный и самый простой.

Всякий конечно знает о страховых обществах против пожаров, града, скотских падежей, опасностей морского плавания и т. д. Но менее известно, что эти общества имеют вообще огромные выгоды: между ними есть такие, которые доставляют своим акционерам 50, 100, даже 150 на 100 процентов на внесенный капитал.

Легко понять почему это так.

«Страховому обществу не нужно капитала: ему не приходится ни предпринимать работы, ни закупать товары, ни оплачивать рабочие руки. Собственники в каком угодно количестве – чем больше, тем лучше, – беря в соображение ценность страхуемого имущества, принимают, один в отношении другого, обязательство взаимно охранять друг друга в случае утрат, вызванных непреодолимыми обстоятельствами или случайностью – вот что называется взаимным страхованием. При такой системе страховой взнос, который должен уплатить каждый член, вычисляется только в конце года или даже в более продолжительные периоды, если несчастные случаи были редки или маловажны. Стало быть, он подвержен колебаниям и никому не приносит выгод.

«Но в другом случае капиталисты соединяются и предлагают частным лицам пополнять за ежегодный страховой взнос x на 1,000 все непредвиденные убытки, причиняемые им пожарами, градом, кораблекрушением, скотскими падежами, – словом, всякими несчастиями; это называется страхованием за определенный взнос.» (Manuel du speculateur à la Bourse, par P. J. Proudhon).

Так как никто теперь необязан заботиться, в чем бы то ни было, об интересах другого, и так как предложение и спрос составляют закон торгового мира, то понятно, что, условливаясь между собою, страхуя друг друга и рассчитывая риск и взносы таким образом, чтобы барыш по крайней мере вдвое превышал убыток, общества ежегодно удваивают или утраивают свой капитал.

Почему же взаимное страхование не заменило давным-давно всякое другое страхование? А вот почему: потому что вы найдете весьма мало частных лиц, которым пришла бы охота заняться тем, что выгодно для всех, но никому не приносит прибыли; потому что правительство, которое могло бы взять на себя такую инициативу, отказывается от этого, будто это вовсе его не касается, так как, по его мнению, это дело политической экономии, а не правительства; потому что – и вот главная причина – это значило бы нанести удар обществам тунеядцев, жирных дармоедов, роскошно живущих тою данью, которую им платят страхуемые; потому, наконец, что те попытки взаимного страхования, которые делались или помимо государственной санкции в слишком маленьких размерах, или же самим государством, но единственно в видах доставить верное обеспечение своим слугам, привели в уныние самых ревностных людей, так что до сих пор еще ничего не сделано для

этой цели. Оставленное в стороне общественной властью, которая должна была принять его в свои руки, взаимное страхование остается доселе только мечтою.

«Когда во Франции пробудятся дремлющие до сих пор дух инициативы и чувство солидарности, страхование обратится в условие между гражданами, в ассоциацию, выгоды которой пойдут в пользу страхуемых, а не нескольких капиталистов, и выразятся в понижении страховой платы. Эта идея уже обнаружилась как в обществе, так и в совещательных собраниях в виде государственных страхований». (Ibid).

В этом случае можно опасаться только одного, именно, чтобы французское правительство, под предлогом общественной пользы, не создало такой же обширной монополии, каковы напр. созданные им монополии железных дорог, газового освещения, омнибусов, маленьких карет и т. д.; такая монополия дала бы средство оделить многих верных слуг, которых по бедности казны нет возможности вознаградить за их продолжительную службу. И так, при том отсутствии взаимной солидарности, которое характеризует современный порядок во Франции, мы французы подвергаемся то эксплуатации обществ, то эксплуатации правительства, а все это происходит оттого, что мы не умеем согласиться между собою и что нам кажется гораздо удобнее смотреть, как привилегия обогащает немногих, чем избавиться общими усилиями от расхищения и нищеты.

Эти факты известны всем, и я вовсе не думаю сообщать читателю чтонибудь новое на этот счет. Чего же требуют сторонники взаимности?

Заодно с экономистами чисто либеральной школы, они охотно признают, что свобода – первая из экономических сил, что ей должно быть предоставлено все, что она может совершить одна; но они полагают, что там, где свобода оказывается недостаточною, здравый смысл, справедливость и общий интерес заставляют прибегать к вмешательству коллективной силы, которая в этом случае есть ничто иное, как взаимность; они полагают, что общественные должности были учреждены именно для потребностей этого рода, и что оне не имеют другой цели. И так, они хотят, чтобы их принцип – в теории признанный всеми по вопросу страхования, но неимевший до сих пор практического применения, благодаря небрежности или злоумышленности, – получил наконец полное и совершенное приложение. Вот то тройное зло, на которое они указывают противоположной системе и которое они твердо решились уничтожить, как только власть перейдет в их руки:

1. Нарушение принципа общественного и экономического права.
2. Принесение в жертву части общественного имущества под видом премии.
3. Премия, поддерживающая и создающая развращающее туеядство.

Но это еще не все. Одна несправедливость ведет за собою другую. В деле страхования, как в деле налогов, тощие платят за жирных, – это факт, который нам трудно было бы подтвердить доказательствами, потому что мы не просматривали счетных книг обществ, но который тем не менее кажется нам совершенно достоверным. И действительно, несчастные случаи сравнительно гораздо реже постигают маленькие квартиры, незначительные движимости, мелкие промышленности, чем большие мануфактуры и обширные магазины; но несмотря на это, страховая премия при разных побочных взносах выше для мелких

страхований, чем для крупных.

Для взимания премий общества учреждают между собою особый капитал, который есть ничто иное, как стачка, относящаяся к разряду стачек, запрещенных прежде законом, но дозволенных теперь собранием законодательного корпуса, что составляет злоупотребление другого рода. Тогда как общества взаимного страхования брали бы не более 0 фр. 15 сантимов на 100, страховые компании с премиями берут по 40%.

Но к чему толковать о взаимности? Общества, учрежденные по этому принципу, гораздо менее стремятся к развитию путем уменьшения взносов, чем к тому, чтобы уподобиться другим обществам, вступая, подобно им, на путь монополии. Они хотят наживаться. Добровольное бездействие одних доставляет поддержку другим.

При настоящем порядке вещей, говорят сторонники взаимности, страховые взносы для большинства просто дань, которой страна оплачивает всеобщую несолидарность. Но придет день, когда одна возможность подобных спекуляций будет вменена в преступление всякому правительству, способному до такой степени пренебрегать общими интересами.

ГЛАВА VII. Экономический закон предложения и спроса. – Насколько этот закон должен быть исправлен принципом взаимности

Все что мы сказали о страховании может послужить образцом для общей критики экономического мира. Правда, здесь мы имеем дело с самыми разнообразными явлениями: тут есть и нарушение справедливости вследствие пренебрежения к принципу взаимности, и презрение прав общества, происходящее от нерадения правительства, и расхищение общественной собственности под видом взносов, и неравенство, а следовательно несправедливость в сделках, где жертвуют слабым в пользу сильного, где бедный платит больше богатого, и, наконец, господство монополий, сопряженное с уничтожением конкуренции, и параллельное ему развитие тунеядства и нищеты.

Наши филантропы изощряли свое лицемерие, отыскивая причины пауперизма и преступлений, но не нашли их, потому что дело было слишком просто. Причины эти сводятся к одной основной причине: к повсеместному нарушению экономического права. Найти лекарство тоже не слишком трудно: оно заключается в возвращении к экономическому праву путем соблюдения закона взаимности. Вот пункт, на который я не перестану обращать внимание читателя, пока мне не удастся совершенно убедить его в этом.

Сейчас, говоря о страховании, мы упомянули о законе предложения и спроса, на который так часто ссылаются. в ответ на всякое требование реформы консервативная мальтузианская экономия никогда не забывает выдвинуть верховный закон предложения и спроса – её любимый конек, её последнее слово. Попытаемся же разобрать его и доказать, что в этом знаменитом законе не все одинаково свято и непреложно.

Разногласие, которое происходит между двумя частными лицами, продавцом и покупателем, по поводу цены какого нибудь товара, услуги, недвижимого имущества или всякого другого предмета, называется предложением и спросом.

Политическая экономия учит и доказывает, что нет возможности определить точную ценность какого нибудь продукта, что она безпрестанно изменяется; следовательно, так как нет возможности установить ценность, она более или менее подлежит произволу и есть вещь фиктивная, условная.

Продавец говорит: мой товар стоит 6 франков и потому я предлагаю его вам за эту сумму. – Нет, отвечает покупатель, ваш товар стоит всего 4 фр., и я спрашиваю его за эту цену; ваше дело решить, можете ли вы отдать мне его.

Может статься, что собеседники – оба люди добросовестные. в таком случае, уважая свое собственное решение, они расстанутся, не покончив дела, если только, по особым соображениям, не поделят разницу поровну и с общего согласия не оценят товар в 5 фр.

Но по большей части встречаются два плута, которые стараются обмануть друг друга. Продавец знает, что стоит его товар своею выделкою и на что он пригоден, и говорит себе, что его ценность = 5 фр. 50 сант. Но правды он не скажет, а запросит за него 6 фр. и даже больше, если только состояние рынка и простодушие покупателя дадут ему на это возможность. Вот что значит запрашивать. Точно также и покупатель, зная свою собственную потребность и соображая в уме настоящую цену предмета, говорит себе: эта вещь может стоить 5 фр., но делает вид, что хочет дать только 4 фр. Это называется сбавлять цену.

Если бы оба были искренни, то скоро согласились бы. Один сказал бы другому: скажите мне настоящую цену, и я в свою очередь сделаю тоже. После этого они расстались бы, ничем не кончив дело, если бы одному не удалось убедить другого, что он ценит неверно и ошибочно. Ни в каком случае они не старались бы перехитрить друг друга – продавец, рассчитывая, что его товар необходим, а покупатель, предполагая, что продавцу необходимо вернуть свой капитал. Если рассматривать такой расчёт с точки зрения добросовестности, он окажется с обеих сторон бесчестным и столь же позорным, как всякая ложь. Следовательно, закон предложения и спроса не может быть непогрешимым, потому что в нем почти всегда сталкивается двойное плутовство.

Во избежание этой низости, которая нестерпима всякому великодушному сердцу, некоторые негоцианты и фабриканты уклоняются от спора предложения и спроса; не будучи в состоянии ни лгать, ни переносить обман, ни подвергаться обвинению в запрашивании, они продают по неизменной цене; от вас зависит брать или не брать. Придет ли ребенок или взрослый человек – с них спросят одинаковую цену; здесь всякий обезпечен неизменностью цены.

Очевидно, чтобы продавать по неизменной цене, нужно больше добросовестности, и такая продажа имеет больше достоинств, чем продажа с торгом. Предположим, что все негоцианты и производители действуют таким образом, – и вот у нас взаимность в

предложении и спросе. Продавая по неизменной цене, можно конечно ошибиться в стоимости товара; но заметьте, что такого продавца сдерживает с одной стороны конкуренция, а с другой – просвещенная свобода покупателей. Всякий товар недолго продается выше своей настоящей цены; если мы видим противное, то ясно, что по какой нибудь причине потребитель не вполне свободен. Если бы этого не было, то много выиграли бы и общественная нравственность, и правильность сделок; дела пошли бы лучше для всех. И знаете ли, что было бы следствием такого принципа? Конечно, богатства накаплились бы не так быстро и не сосредоточивались бы до такой степени в одних руках; но в то же время было бы меньше банкротств, меньше случаев разорения и отчаяния. Страна, где не рассчитывали бы на ажиотаж, где всякий предмет продавался бы за настоящую свою цену, разрешила бы двойную задачу ценности и равенства.

И так, я говорю, не робей: в этом деле, равно как и в деле страхования, общественное сознание требует обеспечения, требует более точного определения в области науки и преобразования в торговых нравах. К несчастью такой реформы можно достигнуть только при инициативе, превышающей всякую индивидуальность, а свет состоит по большей части из людей, которые вопят про утопию при первой попытке внести свет в темные закоулки науки или прикоснуться топором к корню меркантилизма, которые жалуются на стеснение свободы, когда грозят мошенничеству и двоедушию.

ГЛАВА VIII. Приложение принципа взаимности к труду и заработной плате. – О честной торговле и ажиотаже

До революции 89 года и общество, и правительство, основанные оба на принципе власти, были облечены в форму иерархии. В противоположность чувству равенства, которым так обильно Евангелие, сама католическая церковь освящала эту лестницу общественных положений и состояний, вне которой представляли себе только хаос. В церкви и в государстве, в экономическом и в политическом мире господствовал закон, не возбуждавший протеста и считавшийся выражением истинной справедливости – закон всеобщего подчинения. Закон казался столь разумным, столь божественным, что не возникало ни малейшего протеста, а счастье всё-таки не давалось. Всем было плохо: работник и крестьянин, получавшие самую ничтожную заработную плату, жаловались на жестокость буржуа, дворянина или аббата; буржуа, несмотря на свои хозяйские права, на свои привилегии и монополии, жаловался в свою очередь на налоги, на притеснения своих собратий, гражданских и духовных властей; дворянин раззорялся и, заложив или продав свои имения, бывал принужден искать спасения в милости государя или в собственной проституции. Всякий искал, просил улучшения своей горестной судьбы: кто просил прибавки жалованья и задельной платы; кто увеличения барышей; кто требовал сбавки арендной платы, которую другой наоборот находил недостаточной; громче всех вопили и жаловались аббаты, землевладельцы и откупщики, т. е. люди, оделенные лучше других. Словом, положение было невыносимо оно разрешилось революцией.

С 89 года в обществе совершился громадный переворот, а положение, по-видимому, все таки не улучшилось. Больше чем когда либо люди нуждаются в хорошей пище, в хорошем жилище, в хорошей одежде и в уменьшении работы. Рабочие соединяются и делают стачки, чтобы добиться уменьшения рабочих часов и повышения платы; хозяева, принужденные, по-видимому, уступить с этой стороны, прибегают к экономиям в производстве в ущерб качеству товаров; даже дармоеды начинают жаловаться, что им невозможно прожить доходами с своих прибыльных мест.

Чтобы добиться уменьшения работы, которой они притом еще должны добиваться, чтобы возвысить задельную плату и успокоиться на сносном status quo, рабочие соединяются не против одних только предпринимателей; в некоторых местах они соединяются против конкуренции работников-чужестранцев и не допускают их в свои города; они единодушно восстают против употребления машин, принимают меры против допущения новых учеников и, чтобы добиться своего, наблюдают за своими хозяевами, запугивают их, учреждая над ними невидимую, неодолимую полицию.

С своей стороны хозяева не остаются в долгу в отношении рабочих: тут идет борьба капитала с наемщиною, борьба, где одолевают туго набитые кошельки, а не густые массы. Кто легче перенесет остановку работы – сундук ли хозяина или желудок работника? Теперь, когда я пишу эти строки, в некоторых частях Великобритании идет такая ожесточенная борьба, что возникает опасение, как бы свободный обмен, изобретенный для торжества английского капитализма, великой английской промышленности, не обратился против самой же Англии, где ни народ, ни общественный строй, ни рабочие массы не одарены тою упругостью, которую они отличаются во Франции.

А надо бы пособить горю, надо бы отыскать лекарство против этого недуга. Что же говорит наука – я разумею науку официальную? Ровно ничего: она твердит свой вечный закон предложения и спроса, закон совершенно ложный в своем теперешнем смысле, совершенно безнравственный, годный только на то, чтобы упрочить победу сильного над слабым, богатого над бедным.

Посмотрим, не пособит ли нам в этом деле взаимность, к которой мы уже прибегали, чтобы преобразовать страхование и исправить закон предложения и спроса. Как применить ее к труду и плате?

Когда, при наступлении зимы в лесистых странах приходится рубить лес, крестьяне собираются все вместе отправляются в лес; одни рубят деревья, другие делают вязанки из хвороста, а дети и женщины подбирают щепки; потом, разделив все на кучи, бросают жребий. Это называется соединенным трудом; если хотите, это можно назвать ассоциацией; но мы хотим не того, и не то разумеем мы, говоря о приложении взаимности к труду и плате.

Выгорела целая деревня; всякий жертвовал собою, чтобы отвратить несчастье; общими силами спасли несколько вещей, кое-что из провизии, скота, орудий. Прежде всего надо приняться за постройку жилищ. Жители снова соединяются, делят между собою труд; одни копают новые фундаменты, другие принимаются за постройки, третьи берут на себя плотничью и столярную работу и т. д. Все работают вместе, и дело быстро подвигается, так что вскоре каждое семейство может возвратиться в свой увеличенный и украшенный дом. Так как всякий работал за одно с другими и все работали на всех, так как помощь была взаимна, то труд носил на себе некоторый характер взаимности. Но эта взаимность могла проявиться только при одном условии и при временном слиянии всех интересов, так что и здесь мы видим скорее временную ассоциацию, чем взаимность.

И так, для полной взаимности нужно, чтобы каждый производитель принимал известные обязательства в отношении к другим, которые с своей стороны обязались бы к тому же в отношении его, но в то же время вполне сохранял бы совершенную независимость действий, свободу поступков и индивидуальность предприятий, потому что по самой своей этимологии взаимность состоит не в группировании сил и не в сообщности работ, а скорее в обмене услуг и продуктов.

Группирование сил и разделение промышленностей составляют могущественную экономическую силу; в некоторых случаях можно сказать то же самое и об ассоциации или общинности. Но все это далеко не взаимность; все это не в состоянии разрешить задачу свободного труда и справедливой платы, а в настоящую минуту дело идет у нас именно об этой задаче, о специальном приложении взаимности.

Чтобы достигнуть этой цели нам надо пройти долгий путь, надо затронуть не одну идею.

1. С 1789 года Франция превратилась в демократию. Все равны перед гражданским, политическим и экономическим законом. Древняя иерархия скрыта до основания; принцип власти ступенчатся перед объявлением прав и всеобщей подачей голосов. Мы все обладаем правом собственности, правом предприятия, правом конкуренции; к довершению всего нам дали право ассоциаций и стачек. Это приобретение новых прав, которое в былое время могло бы показаться возмущением, этот демократический продукт составляют первый шаг к порядку вещей, основанному на взаимности. Долой лицепритие, долой привилегии рас и классов, долой сословные предрассудки, долой, наконец, все, что мешает свободным сделкам между гражданами, которые стали равны между собою! Равенство лиц – вот первое условие уравнивания имуществ, которое произойдет только путем взаимности, то есть, взаимной свободы.

Но не менее ясно и то, что это великое политическое уравнивание не разрешает нам следующей задачи: какое отношение существует, например, между правом подачи голосов и установлением настоящей задельной платы? Между равенством перед законом и равновесием услуг и продуктов?

2. Идея установления тарифа была первой, за которую взялась демократизированная Франция. Законы максимума – самые революционные законы. К ним привел народный инстинкт, а в этом инстинкте есть большая доля юридической и разумной правды. Я уже давно предлагаю следующие вопросы, на которые еще ни разу не получал ответа. Что стоит пара лаптей? Во сколько можно оценить рабочий день колесника? Что может стоить день каменотеса, кузнеца, бондыря, портнихи, пивовара, прикащика, музыканта, танцовщицы, землекопа, поденьщика? Очевидно, что, зная мы это, вопрос о труде и плате был бы разрешен: нет ничего легче, как оказывать справедливость, а результатом справедливости было бы повсеместное спокойствие и довольство. Сообразно этому, сколько надо будет платить доктору, нотариусу, чиновнику, профессору, генералу, священнику? Сколько придется на долю государя, артиста, виртуоза? Сколько, по справедливости, буржуа, – если только буржуа будет существовать, – должен получать лишку против работника?

Сколько назначить ему за его хозяйничанье?

«Предложение и спрос», - отвечает непоколебимый экономист английской школы, последователь Адама Смита, Рикардо, Мальтуса. Но ведь это из рук вон глупо! Всякое мастерство должно производить по крайней мере столько, чтобы прокормить хоть того, кто им занимается; иначе, оно будет оставлено, и совершенно основательно. Стало быть, вот для задельной платы, а, следовательно, и для работы первая граница минимума, за которую нет возможности перейти. Тут не устоит никакой закон предложения и спроса: надо, чтобы была возможность жить, работая, как говорили в 1834 году лионские рабочие. Если этот минимум можно возвысить, тем лучше: мы не будем завидовать благосостоянию, которого работник добьется своим трудом. Но в таком обществе, где все промышленности являются разветвлениями одна другой, где цены предметов постоянно влияют друг на друга, улучшение посредством возвышения платы пойдет не далеко, - и это совершенно ясно. Всякий противится притязаниям своего ближнего, потому что, какова бы ни была добрая воля всех, возвышение задельной платы одного наносит, неизбежно, ущерб другому. Стало быть, и это, по моему, совершенно разумно - наш вопрос сводится к следующему: так как минимум расходов, необходимых для существования рабочего, найден (предположим, что такое определение возможно), то следует отыскать норму задельной платы, что для нашего общественного строя составляет условие увеличения всеобщего благосостояния.

Оставим же в стороне максимум, установление тарифов, регламентации и все принадлежности 93 года. Нам совсем не до того. Демократизируя нас, революция поставила нас на путь промышленной демократии. Это был первый и огромный шаг, который она заставила нас сделать. Из этого вышла вторая идея - определение труда и задельной платы. Было время, когда эта идея возбудила бы скандал; теперь она считается логичною и законною: мы оставляем ее за собою.

3. Чтобы справедливо оценить поденный труд рабочего, надо знать, из чего он состоит; какие количества составляют ценность; не встречаются ли в ней посторонние элементы, предметы, не имеющие никакой ценности?

Другими словами, здесь надо спросить, что хотим мы купить и что, по совести, нам приходится оплачивать в трудовом дне рабочего или вообще всякого, кто оказывает нам услугу?

То, что мы исключительно хотим приобрести и что оплачиваем всякому, от кого требуем услуги, не более, не менее, как сама услуга.

Но на практике дело происходит не так: можно насчитать множество случаев, где сверх стоимости продукта услуги, мы платим за сословие, рождение, знаменитость, знатность, почетное положение, значительность, громкое имя того лица, которое оказывает услугу. Таким образом, советник императорского двора получает 4000 фр., а президент 15000. Начальник департамента министерства имеет 15000 фр., а министр - 100,000. Несколько лет назад приходским священникам было назначено 800 фр. жалованья; прибавьте к этому 50 фр. постороннего дохода, выйдет 850, а епископы получают по крайней мере по 20,000 фр. Первый солист оперной труппы или первый актер французского театра требует 100.000

фр. постоянного годового жалованья и известное число бенефисов; а второстепенный актер получает 300 фр. в месяц. В чем же заключается причина такой разницы? Она целиком заключается в достоинстве, в положении, в звании, в том неуловимом метафизическом и идеальном отличии, которое не оплачивается и недопускает никакой продажности...

Таким образом, доход одних преувеличивается тем высоким мнением, которое составляют себе об их обязанностях и личностях, а задельная плата и содержание гораздо большего числа людей убавляются почти до нуля, благодаря тому презрению, с которым относятся к услугам этих людей и тому низкому положению, в котором их систематически держат. Одно составляет противоположность другому. Аристократия предполагает рабство: на долю первой выпадает изобилие; следовательно, на долю второго достаются всякия лишения. Во все времена раб был лишен права на произведение своего собственного труда: при феодальном праве тоже самое делал и барон, отнимавший у своего вассала пять рабочих дней и оставлявший ему только один день, чтобы запастись провизией на всю неделю. С 89 года за рабочим было признано право располагать своим трудом и продуктами этого труда. Но неужели кто-нибудь воображает, что в наше время нет рабского труда? Я не говорю о совершенно безвозмездном труде: такой труд невозможен. Но разве нет труда, который оплачивается меньше, чем того требуют настоятельная необходимость, простое уважение к гуманности? Тому, кто скольконибудь усомнился бы в этом, я посоветую только открыть книгу Петра Венсара. Наши фабрики, наши мастерские, мануфактуры, города и деревни битком набиты людьми, которые живут на 60 сант. в день и даже меньше; говорят, есть даже люди, получающие меньше. Описание таких бедствий кладет пятно на человечество; оно обличает глубокую недобросовестность нашей эпохи.

Вы возразите мне, что все это только счастливые и несчастные исключения, что нации чтят самих себя, возвышая оклады и содержание своих должностных лиц и знаменитых талантов, и что неразумно было бы смешивать этих людей с низким сословием промышленников и рабочих.

Но спуститесь вниз по общественной лестнице, сойдите с её вершины, на которую я вас только что перенес, и к крайнему удивлению вашему вы заметите, что во всяком положении люди судят о себе точно таким же образом. Доктор и адвокат, сапожник и модистка берут доход с известности, которою пользуются; есть даже люди, которые делают оценку своей честности, как та кухарка, которая за прибавку жалованья обещала не воровать. Покажите мне человека, который не считал бы себя несколько выше своих собратий и не воображал бы, что делает вам честь, работая для вас за известную плату. Когда сам производитель определяет задельную плату, вопрос всегда раздваивается: здесь затрагиваются оба – и личность, *potinor quia leo* (Ибо я зовусь львом. Слова из басни Федра. Лев и Осел делят добычу после охоты. Лев забрал себе одну треть как царь зверей, вторую — как участник охоты, третью — потому что он лев - пер. БФА), и работник. Во Франции найдется целая сотня хирургов, которые не затруднились бы вынуть пулю из ноги Гарибальди; но для знаменитого раненого нужен был знаменитый оператор; от этого Гарибальди показался в десять раз героичнее, а г. Нелатон в десять раз искуснее. Всякому досталось по рекламе: таковы порядки экономического мира.

Так как мы дожили до демократии и все пользуемся одинаковыми правами, так как закон оделяет нас одинаковыми милостями и почетом, то я думаю, что, принимаясь за дела, мы должны отстранить всякий вопрос о первенстве и, оценивая взаимно наши услуги, должны принимать в расчёт только настоящую ценность труда.

Польза стоит пользы;

Должность стоит должности;

Услуга оплачивает услугу;

Рабочий день равняется другому рабочему дню.

И всякое произведение должно оплачиваться произведением, на которое потрачена такая же сумма труда и издержек.

Если бы при подобных сделках пришлось отдавать чему-нибудь предпочтение, оно не досталось бы тем блестящим, приятным, хорошо вознагражденным обязанностям, которые нравятся всем; оно выпало бы на долю тех тяжелых работ, которые оскорбляют нашу деликатность и возмущают наше самолюбие. Положим, богачу взбредет на ум нанять меня в лакеи: «Глупых ремесл не существует, скажу я себе; есть только глупые люди. Попечения, которые оказываются личности, стоят выше полезного труда; это подвиги милосердия, которые ставят оказывающего их выше того, кто их принимает. Я вовсе не желаю унижаться и потому поставлю следующие условия моей службы: пусть тот, кто желает иметь меня лакеем, платит мне из своего дохода 50 % на 100. Иначе, мы выйдем из пределов братства, равенства, взаимности: скажу даже больше – мы выйдем из пределов справедливости и нравственности; мы перестанем быть демократами и превратимся в общество аристократов и холуев».

Но, возразите вы мне, неправда, будто одна служба равняется другой, будто одна услуга оплачивает другую, будто рабочий день одного равняется по цене рабочему дню другого. Против этого протестует всеобщее сознание; оно говорит, что при таком управлении ваша взаимность была бы вопиющей несправедливостью. Стало быть, волей или неволей, придется сообразоваться с законом предложения и спроса и ограничиться смягчением его ложных и диких сторон образованием и филантропией.

Признаюсь, для меня такое рассуждение все равно, что если бы мне стали доказывать, что промышленники, должностные лица, ученые, негоцианты, работники, крестьяне – словом, все работающие, производящие, трудящиеся люди – животные разных пород и видов, которых нет возможности сравнивать между собою. Можно ли сравнивать достоинство вьючной скотины с достоинством человека; можно ли мерить на один аршин порабощение первого и благородные, свободные действия второго?... Вот как рассуждают теоретики неравенства. На их взгляд расстояние между двумя людьми может быть больше, чем между человеком и лошадью. На этом основании они умозаключают, что не только произведения человеческого труда составляют величины несоизмеримые; но, несмотря на все, что было писано по этому поводу, они утверждают, что и самые люди неравного достоинства и, следовательно, не могут пользоваться равными правами, и потому все, что делается для

уравнения их, разрушается самую сущностью вещей. В этом-то неравенстве личностей, говорят они, и заключается принцип неравенства положений, сословий и состояний.

Кто ненавидит истину из за сословных интересов или из за привязанности к системе, тому легко отделяться фразами. Отыскивая философию истории, Паскаль представлял себе человечество единой, бессмертной личностью, которая собирает в себе все знания и постепенно осуществляет все идеи человеческого прогресса. Вот как Паскаль представлял себе единство и тождество нашего рода; от этого тождества он восходил к самым высоким мыслям о развитии цивилизации, о влиянии Провидения, о солидарности государств и рас. Тот же образ понимания приложим и к политической экономии. Надо смотреть на общество как на великана с тысячью рук, который занимается всеми промышленностями и производит одновременно все богатства. Он одушевлен одним сознанием, одною мыслью и волею, и в тесной связи его трудов проявляется единство и тождество его личности. Чтобы он ни предпринял – он всегда останется верен себе, всегда сохранит величавость и достоинство, как в мельчайших подробностях, так и в самых удивительных комбинациях. Во всех обстоятельствах своей жизни это чудное существо остается неизменным, и можно сказать, что всякое его действие, всякое движение уравновешивается другим.

Но вы продолжаете настаивать и говорите: если бы даже все личности, составляющие общество, обладали одинаковой степенью нравственного достоинства, люди все-таки не были бы равны между собою по способностям, – а этого довольно, чтобы разрушить демократию и её законы, под которые хотят нас подвести.

Личности, которые являются органами общества, неравны между собою по способностям, но равны по нравственному достоинству – это несомненно. Из этого следует, что при этом исследовании надо оставить в стороне все, что делает нас равными, и стараться только, по мере сил, измерить наши неравенства.

Итак, оставляя в стороне человеческую личность, которую мы признаем неприкосновенною, отодвигая прочь и нравственную природу, и все, что относится к сознанию, мы должны изучать человека действия или работника по его способностям и произведениям. С первого же взгляда мы открываем следующий замечательный факт: если двое людей и неравны между собою по способностям, то разница в ту или в другую сторону никогда однако не доходит до бесконечности, а всегда остается в довольно тесных границах. Как в физическом мире нам невозможно достигнуть ни крайнего жара, ни крайнего холода, и наши термометрические измерения колеблются на небольших расстояниях в обе стороны от средней точки, ошибочно называемой нулем, – так точно нет никакой возможности определить отрицательную и превосходную степень силы разума ни между людьми и животными, ни между творцом и миром. Все, что мы можем сделать, хотя бы например относительно ума, – это начертать границы, конечно, произвольные, выше и ниже определенного, условного пункта, который назовем здравым смыслом. Касательно силы мы тоже можем принять одну общую единицу, хотя бы например силу лошади, и потом считать, сколько единиц или дробей этой единицы каждый из нас способен произвести.

Итак, для измерения силы и ума, мы получим, как на термометре, крайности и среднюю пропорцию. Большая часть людей будет подходить к средней пропорции, а те, которые

будут отходить от нея вверх или вниз, будут составлять более редкие явления. Я только что сказал, что между этими двумя крайностями расстояние довольно незначительно, и действительно, человек, который соединял бы в себе силы двух или трех людей, был бы геркулесом, а тот, в ком соединялся бы ум четырех человек, был бы полубогом. К этим границам, которым подчиняется развитие человеческих способностей, присоединяются условия жизни и природы. Максимум продолжительности человеческой жизни – 70 или 80 лет, из которых надо вычесть период детства и образования и период старости и одряхления. Сутки для всех одинаково имеют 24 часа, из которых, смотря по обстоятельствам, можно уделить на работу 9–18 часов. в каждой неделе есть день отдыха, и, хотя год состоит из 365 дней, однако можно рассчитывать только на 300 рабочих дней. Из этого ясно, что хотя в промышленных способностях и есть неравенство, но оно нисколько не мешает существованию общего уровня в целом; это напоминает ниву, где все колосья неравны между собою, но которая, тем не менее, кажется совершенно ровной долиной.

Руководствуясь этими соображениями, мы можем определить рабочий день: во всякой промышленности и во всяком ремесле рабочий день – это вся сумма того, что может произвести или заслужить в данный срок человек средней силы, среднего ума и средних лет, хорошо знающий свое ремесло во всех его отраслях; срок этот можно считать в 10, 12 и 15 часов для труда, который можно оценивать по дням, или в неделю, месяц, год – для труда, требующего более продолжительного времени.

Так как дитя, женщина, старик, больной или слабый человек не могут достигнуть средней цифры труда нормального человека, то их рабочий день будет не более как дробью в отношении к нормальному, официальному, законному дню, принимаемому за целую единицу. – Тоже самое я скажу и о дне работника, занимающегося каким-нибудь чисто механическим делом, составляющим лишь часть труда, необходимого для данного производства; его труд требует более навыка, чем усилий ума, и не может сравниться с трудом настоящего ремесленника.

За то превосходный работник, тот, который задумывает дело, работает быстрее, поставяет большее количество продуктов лучшего качества, чем другой, а тем более тот, кто с этим совершенством исполнения соединяет умение управлять и силу повелевать, превзошел бы общий уровень и, следовательно, получил бы право на большую плату; он мог бы заработать в один день то, что стоят полтора, два, три и даже больше рабочих дня. Таким образом права силы, таланта, даже характера принимаются в соображение, как и права труда: если справедливость не обращает ни малейшего внимания на личности, за то она строго взвешивает способности.

Теперь я буду утверждать, что нет ничего легче, как проверить все эти счета, привести в равновесие цены, разрешить по справедливости все эти неравенства; это также легко, как выплатить 100 фр. золотыми монетами в 40, 20, 10 и 5 фр., серебряными монетами в 5, 2 и 1 фр. или медными в 2 и в 1 сантим. Каждая из этих величин составляет часть другой, и все они могут взаимно дополнять и заменять друг друга; короче – это самое простое арифметическое действие.

Но повторяю, чтобы произвести этот расчёт необходимо добросовестно оценить труды, услуги и произведения; надо, чтобы трудящееся общество дошло до известной степени промышленной и экономической нравственности, чтобы все подчинялись законам справедливости, не взирая на знатность, первенство, положение, знаменитость, словом на все, чем дорожит общественное мнение. Надо принимать в соображение только полезность и качество произведения, труд и его стоимость.

Я повторяю и утверждаю, что такая оценка в высшей степени практична, и что наша прямая обязанность стремиться к ней всеми силами: она исключает лихоимство, тунеядство, гнет налогов, шарлатанство, эксплуатацию, притеснение; но ее никак нельзя обратить в домашнее дело, в семейную добродетель, в подвиг частной нравственности; оценка труда, постоянно возобновляемое установление стоимостей составляют основную задачу общества, такую задачу, которая может разрешиться только общественной волею и могуществом собирательной силы. Мне приходится повторить еще раз то, что я уже высказал: ни наука, ни правительственная власть не выполнили в этом отношении своего призвания. Мало того: несоизмеримость произведений была признана догматом, взаимность объявлена утопией, а неравенство преувеличено, чтобы за одно с всеобщей разъединенностью увековечить бедствия масс и ложь революции.

Теперь пусть рабочая демократия принимается за этот вопрос: это её дело. Пусть она скажет свое слово, и тогда под напором общественного мнения государство, этот орган общества, должно будет начать действовать. Если же рабочая демократия удовлетворяется волнениями в мастерских, нападками на буржуа, манифестациями на бесполезных выборах, и останется равнодушна к принципам политической экономии, т. е. к настоящим принципам революции, то пусть же она знает, что отрекается от своего призвания и долга и что придет день, когда потомство заклеймит ее.

Вопрос о труде и плате приводит нас к вопросу о торговле и ажиотаже, которым мы и закончим эту главу.

Почти у всех народов на торговлю смотрели с недоверием и неуважением. Патриций или дворянин, который занимался ею, ронял свое достоинство. Духовенству был запрещен всякий торговый оборот, и обличение иезуитских спекуляций и оборотов произвело в XVII веке громадный скандал. В числе других торговых операций достопочтенные отцы упрочили за собою монополию хинины. В чем же причина этого векового проклятия, которого не искупили ни современные нравы, ни наши экономические принципы? Она коренится в недобросовестности, которая во все времена казалась необходимым свойством торговли и которую моралисты, богословы и государственные люди отчаивались вытеснить из неё. Пуническая честь была в древности заклеймена позором. Но что такое эта пуническая честь? Совершенно тоже, что и греческая, аттическая, коринфская, еврейская, массилийская и даже римская честь – словом честь торговая.

Чтобы торговля была честна и безупречна, надо чтобы, независимо от взаимной оценки услуг и произведений, перевозка, распределение и обмен товаров производились по более дешевым ценам и с большею выгодой для всех. Для этого потребовалось бы, чтобы все производители, негоцианты, перевозчики, комиссионеры и потребители всякой страны

взаимно обеспечили бы друг другу спрос и предложение работ, материалов, цен провоза и т. д., и кроме того обязались бы, одни поставлять, другие принимать условное количество товара на определенных условиях и по известным ценам. Таким образом пришлось бы постоянно публиковать статистические сведения о состоянии урожаев, о числе рабочих рук, о задельной плате, о рисках и несчастных случаях, о размере спроса, о рыночных ценах и т. д.

Предположим, например, что по самым подробным и точным вычислениям, производимым в продолжение целого года, окажется, что средняя цена производства пшеницы – 18 фр. за гектолитр; тогда продажная цена будет колебаться между 19 и 20 фр., давая земледельцу от 5,30 до 10 на 100 чистого барыша. Если урожай будет плох, если будет дефицит хоть одной десятой, то цена должна будет возвыситься в одинаковой пропорции, чтобы с одной стороны весь убыток не падал на одного крестьянина, а с другой, чтобы общество не страдало от чрезмерного повышения цен: пора ему перестать умирать голодной смертью. Ни по справедливости, ни по истинной политической экономии нельзя допустить, чтобы общее бедствие служило источником обогащения нескольким спекуляторам. Если же напротив хлеба родится в изобилии то, сообразно с его количеством, цена должна будет уменьшиться, чтобы с одной стороны упадок цены на хлеб не причинил крестьянину дефицита, как часто бывает, а с другой, чтобы общество пользовалось урожаем или во время текущего года, или в последующие года; избыток же должен сохраниться в запас. Из этих примеров видно, каким образом производство и потребление уравнивались бы одно другим, взаимно гарантируя друг другу сбыт и покупку хлеба по настоящей цене, и каким образом, благодаря разумным рыночным ценам и хорошей экономической полиции, изобилие и недостаток, распределяясь равномерно на всю массу населения, не вели бы за собою ни чрезмерного обогащения одних, ни крайнего дефицита для других; такой порядок вещей был бы самым прекрасным, самым плодотворным результатом взаимности.

Но очевидно, что такое благодетельное устройство может быть произведено только общей волей, а против этой-то именно воли и восстают либералы политической экономии, вопия против регламентации и правительственности. Они находят более удобным для себя присутствовать при вакханалиях барышничества, чем содействовать прекращению правильно организованного, непреодолимого грабежа, которого нельзя победить ни философскими доводами, ни частным правосудием: да разве совершенство возможно на земле, говорят они, и разве свобода не столь плодотворна, чтобы вознаградить за свои оргии?

На бирже и на рынке, в судах и на базарах – везде раздаются жалобы против ажиотажа. Но что такое ажиотаж сам по себе? Один умный и последовательный защитник ажиотажной торговли объяснил нам его недавно таким образом: в обществе, одержимом анархическим барышничеством, ажиотаж есть искусство предвидеть колебания цен и, делая во время покупки и продажи, пользоваться их понижением и повышением. Что же вы находите безнравственного, спрашивал он, в оборотах такого рода, которые без сомнения требуют высоких дарований, чрезвычайной осторожности и множества познаний?... Действительно, при данной обстановке биржевой игрок в своем роде герой; я не брошу в него камень. Но мои противники должны будут в свою очередь сознаться, что хотя ажиотажная спекуляция и не может считаться преступлением в таком обществе, где все на военном положении, –

она тем не менее в высшей степени непроизводительна. Тот, кто обогатился лажем с промена, не имеет ни малейшего права ни на благодарность, ни на уважение людей. Если даже он никого не обокрал и не надул (я говорю о достойном спекуляторе, который пользуется своим чутким гением, не прибегая к обману и лжи), то все-таки он не может похвастать, что принес хоть малейшую долю пользы. Говоря по совести, было бы в тысячу раз лучше, если бы он, оставив в стороне ценности, направил свои дарования к другой цели и не взимал бы с обращающихся капиталов барышей, без которых общество весьма легко могло бы обойтись. К чему это снятие сливок, напоминающее акцизный сбор у городских ворот, от которого оно однако отличается тем, что не может сослаться в свое оправдание на необходимость издержек на содержание города. Вот почему во все времена ажиотаж казался гнусным не только моралистам и государственным людям, но и экономистам. И взгляд этот верен, потому что он основан на всеобщем сознании, которое в противоположность нашим отсталым и переходным законодательствам всегда бывает непреложно и непогрешимо в своих суждениях.

В силу этого можно посоветовать тем, которые прикидываются очень строгими в отношении к спекуляторам и в то же время благоговейт перед политическим и общественным status quo, быть попоследовательнее и не останавливаться на полпути. Оставленная, при современном состоянии общества, на произвол анархии, лишенная руководства, необходимых знаний, связующего единства и принципа, торговля имеет совершенно спекуляторский характер; иначе и быть не может. Следовательно, надо или осуждать все без исключения, или все терпеть, или все преобразовать.

Совершенно справедливо, чтобы человек, предпринимающий на свой риск обширный торговый оборот, которым будет пользоваться все общество получал за это приличное вознаграждение при перепродаже своих товаров. Этот принцип справедлив в самом строгом смысле: трудно только сделать из него безукоризненное приложение. На деле выходит так, что, если и есть выгоды, приносимые предприятиями помимо ажиотажа, то тем не менее все они заражены его духом: отделить одно от другого невозможно. В обществе, где нет солидарности и необходимого обеспечения, всякий работает для себя, нимало не заботясь о других. При этом исчезает различие между законной и незаконной прибылью. Всякий старается взять самый большой барыш; все пускаются в ажиотаж: спекулирует торговец и промышленник, барышничает ученый, поэт и актер; музыкант, танцовщица и медик ведут биржевую игру; знаменитый человек и публичная женщина равно преданы ажиотажу; только поденьщики, работники, мастеровые и должностные лица чужды ажиотажа, так как им дается определенное жалованье или определенная задельная плата.

Признаем же справедливость следующей мысли: человек, который отделил в своем уме ажиотаж от обмена, случайный элемент от неизменного, выгоду, приносимую спекуляцией, от торговой выгоды, и, предоставив другим реальную сторону торговли, принялся спекулировать на колебания цен, – такой человек только вывел следствие из нашего общественного порядка, полного вражды, эгоизма и недобросовестности. Он, так сказать, становится насчет общества обличителем торговли, разоблачая своими фиктивными операциями дух несправедливости, управляющий операциями реальными. Наше дело пользоваться уроком, потому что простое полицейское запрещение биржевой игры и сделок

на срок принадлежит к числу неосуществимых предприятий, столь же стеснительных, как и самый ажиотаж.

Взаимность может излечить эту язву, но, разумеется, не карательными постановлениями, хотя справедливыми, но бесполезными, а тем более не стеснением свободы торговли, что было бы вреднее самой язвы: – она должна поступить с торговлею также, как и с страхованием, т. е. обставить ее всевозможными общественными гарантиями и таким образом привести ее к своему принципу. Сторонники взаимности знают не хуже других закон предложения и спроса; они ни в каком случае не преступят его. Издание подробных и часто пополняемых статистических таблиц, собрание точных сведений о потребностях и образе жизни людей, добросовестное определение стоимости производства, предусмотрение всех случайностей, такса для минимума и максимума прибыли, установленная с общего согласия самими производителями, потребителями и торговцами, сообразно с риском и трудностью, организация экономического равновесия: – вот, приблизительно, совокупность тех мер, посредством которых сторонники взаимности предполагают преобразовать рынок. Пусть свободы будет как можно больше, говорят они; но еще важнее искренность и взаимность, а главное, побольше знаний для всех. Когда это осуществится, выгода останется за тем, кто будет прилежнее и честнее. Вот их девиз, и неужели вы думаете, что через несколько лет после такой реформы наши торговые нравы не изменятся до самого основания к величайшему благу общества.

ГЛАВА IX.

Законодательные стремления к взаимности

Медленно совершается восхождение идей на горизонте человечества, а особенно медленно зарождаются те идеи, в которых выражается прогресс человеческого сознания. Было время, когда воровство считалось синонимом героизма и пользовалось почетом. Целый общественный переворот заключается в словах: не укради – *Lo thi gnob* – написанных Моисеем в заповедях. Действительно, в известный момент истории воровство, по выражению Гоббса, принадлежит к естественному праву. Римский закон одобряет кражу посредством игры слов; тем хуже для того, кто попадает в ловушку на словах! *Ut lingua nun cupavit, ita jus esto*, говорит он.

Весьма замечателен факт, свидетельствующий о медленности прогресса, что Гражданский Устав, обнародованный в 1805 году, счел нужным оградить покупателей от скрытых недостатков покупаемого предмета.

Статья 1641. Продавец отвечает за скрытые недостатки проданной вещи, которые делают ее или вовсе негодною к употреблению, или столь негодною, что покупатель не приобрел бы ее или заплатил бы за нее меньше, если бы знал эти недостатки.

Ст. 1642. Продавец не отвечает за недостатки, которые на виду и которые покупатель мог заметить сам.

Вторая из приведенных статей доказывает, как велика осмотрительность законодателя. Оградить покупателя от скрытых недостатков было уже огромным усилием с его стороны; но когда дело зашло о видимых недостатках, он отстраняется и берет назад свою гарантию. Но как же решить, скрыт ли, или виден недостаток? к чему это различие? Следовало бы сказать просто, что продавец обязан гарантировать недостатки, которые делают предмет негодным к употреблению, кроме того случая, когда покупатель захотел бы приобрести предмет, несмотря на его недостатки; в таком случае это условие должно быть точно оговорено. Но вот чего я уж никак не пойму. Изложив в ст. 1646 правила действия, вытекающего из скрытых недостатков, составитель Устава прибавляет:

Ст. 1649. Это не относится к продажам, которые производятся по предписанию правосудия.

Что означает это исключение? Как?! юридическая власть лишает человека собственности, продает его дом, его скот и движимое имущество; в своем месте, в ст. 1625, она

гарантирует покупщикам мирное владение купленными вещами, а между тем не гарантирует скрытых недостатков этих вещей, тогда как сама же требует такой гарантии от каждого продавца! Это доказывает, что, когда человек путем новых законов не возвышается до понимания социального права, общественное правосудие с своей стороны придерживается естественного права...

В 1838 году французское законодательство почувствовало необходимость снова заговорить о гарантии скрытых недостатков; но дело ограничилось перечислением подобных недостатков в лошадях, ослах, мулах, быках, баранах, что умножило трудности протеста со стороны недовольного покупщика. Гражданская власть побоялась, вероятно, что зашла слишком далеко! Но следовало руководиться совершенно противоположною мыслью: если вы хотите ввести в торговлю нравственность, остановить плутовство, гарантировать настоящее количество, качество, происхождение товаров, хлебов, напитков, скота и т. д., – вы должны прежде всего зорко следить за продавцом; вы должны возложить ответственность на него; вы должны, восходя к источнику, остановить скрытое зло или скрытые недостатки; вы должны облегчить покупателю возможность протестовать, а не защищать против него продавца. Не забывайте, что в торговле всегда скорее можно предполагать обманщика в продавце, а обманутого в покупателе. За что же последнему придется принимать такие предосторожности? Ведь в его деньгах нет никаких скрытых недостатков? Поражайте барышничество без всякой пощады, – заслуга ваша будет велика перед лицом общественной нравственности. Будьте строги особенно в отношении к предложению, – и вы будете справедливы ко всем: вы добьетесь взаимности.

В числе мер, относящихся к торговым гарантиям и обличающих в государственной власти стремление к взаимности, назовем еще закон 28 июля 1824 года, который относится к фабричным клеймам. Законодатель имел здесь в виду только одно: защитить промышленника против подделки и похищения права. Но раз что собственность и изобретение изобретателя и добрая слава фабриканта достаточно защищены, следует непременно, чтобы на них падала и равносильная ответственность и чтобы всякий продукт, выпущенный из их магазина, мог быть снова возвращен им, если окажется низшего качества или будет заключать в себе скрытые недостатки. Сколько товаров подверглось бы такой участи, если бы все делалось по правилам взаимности! Мало ли найдется фабрикантов, которые, выпустив сначала хорошие продукты, приобретя таким образом практику и победив конкуренцию, становятся недобросовестны и заслуживают после медали и поощрения зеленой шапки и самых тяжких пеней. Ежегодные убытки, которые общество терпит благодаря всем этим шарлатанам, простираются до сотней миллионов; за ними не усмотрит, их не предупредит никакая полиция; только преобразующая сила способна уничтожить их.

ГЛАВА X. Уменьшение квартирных цен принципом взаимности

В квартирных контрактах закон взаимности нарушается самым вопиющим образом. Там, где население густо, как например в Париже, Лионе, Марселе, Бордо, Тулузе, Лилле, Руане и т. д., всякому семейству невозможно быть собственником своего жилища, хотя это весьма желательно; поэтому известному числу частных лиц приходится взять на себя труд строить дома и содержать квартиры для других, какому бы риску ни подвергались через это интересы и свобода последних. Но наем квартиры или договор или контракт, который заключают домохозяин и жилец, есть одна из тысячи сделок, из коих слагаются человеческое общество и торговля. Поэтому эта сделка должна подлежать правилам права и даже надзору полиции.

В Сенском департаменте 1,800,000 душ, населяющих пространство в 30 квадратных миль (что составляет 60,000 душ на каждую квадратную милю), находятся в зависимости от 25 или 30,000 собственников. Не чудовищный ли это факт? Не должен ли он привлечь на себя все внимание и всю заботливость власти? Как живет это огромное население, лишенное всякой защиты и вполне зависящее от произвола 25,000 спекуляторов? Каковы условия пространства, обращения, гигиены, цены, которым оно должно подчиняться? Возможно ли, чтобы власть, по ложному уважению к праву собственности и к мнимой свободе сделок, оставляла это население в жертву всех насилий монополии и ажиотажа?

А между тем, в отношении к найму квартир мы остались при старом римском праве, при этом древнем, тираническом культе собственности. Закон покровительствует собственнику и относится с недоверием к жильцу; между ними нет равенства. В случае спора или тяжбы предубеждения стоят на стороне отдающего в наймы; на его же стороне все обеспечения.

1. В силу статьи 2102, долговая претензия домовладельца пользуется преимуществом: на каком основании, осмелюсь спросить? Жилец покупает в долг мебель, которую уставляет свою комнату. Дела его идут плохо: год кончается, и он никому не платит, ни продавцу мебели, ни домовладельцу. Последний имеет право выгнать жильца и удержать мебель, которая стоит в комнате, тогда как мебельщик не имеет права ни требовать назад вещей, которые он доставил и за которые не получил денег, ни предъявить свои притязания за одно с домовладельцем. На чем же основано это различие? Из этого следует, что бесчестный домовладелец, стакнувшись с мошенником, мог бы, не платя ни копейки, омеблировать свой дом. Справедливо ли, предусмотрительно ли это?

2. В силу статьи 1716 присяге домовладельца верят, если не существует письменного контракта: почему же тоже самое не относится и к жильцу? – То же различие повторяется в статье 1781 по поводу найма рабочих:

«Хозяину, сказано в уложении, верят на слово касательно количества жалованья, задельной платы за истекший год, и жалованья, выданного взачет за текущий год».

Спрошу еще раз, чем с 1789 года может быть оправдано такое лицепрятие?

3. Третье неравенство: «Если не было сделано описи квартиры, гласит 1731 статья, то предполагается, что жилец получил ее в хорошем состоянии». Почему же предполагается? Разве дома не имеют своих скрытых недостатков, как рогатый скот, овцы и лошади? Кто же не знает, что выгоды и неудобства квартиры можно узнать, только прожив в ней месяцев шесть?

4. Поправки квартиры лежат на обязанности нанимателя: статья 1754 определяет и исчисляет их. Статья 1755 прибавляет, правда, что поправки необязательны для жильца, если вызваны ветхостью или непреодолимыми обстоятельствами. Но эта оговорка совершенно обманчива. Есть вещи, которым суждено не изнашиваться, а разбиваться рано или поздно от постоянного употребления: таковы, например, глиняные вещи, фарфор, зеркала и т. д. в этом случае необходима терпимость в пользу нанимателя. Всем известно, что ненаселенный дом гораздо скорее приходит в ветхость, чем населенный: неужели в силу этой причины свод гражданских законов взял на себя труд еще усилить ответственность жильца?

5. Жилец отвечает за пожар (см. статью 1733), если ему не удастся доказать, что пожар случился по непредвиденному обстоятельству, или по непредотвратимой причине, или по недостатку в самом здании, или что пламя сообщилось от соседнего дома.

Статья 1734. – Если в доме несколько жильцов, то все солидарно ответственны за пожар, если не докажут, что пожар начался в квартире одного из них, в каковом случае этот один и отвечает; или если некоторые из них не докажут, что пожар не мог начаться у них, в каковом случае доказавшие это не отвечают.

Таким образом, делаясь на время хозяином, наниматель страхует недвижимость: какую же премию платит за это страхование домовладелец? Ведь пожар – это риск, присущий всякому сгораемому предмету, тем более домам. Добро бы еще в контракте находился особый пункт, которым нанимателю запрещалось бы разводить огонь в занимаемой им квартире; тогда было бы понятно, что он должен отвечать за пожар. Но не тут-то было: дома нанимаются как раз для того, чтобы в них греться и стряпать кушанья; и, несмотря на это, свод законов возлагает на жильцов ответственность за пожары. Да ведь это бессмыслица!

6. Все экономисты признают, что общество имеет право на участие в выгодах, получаемых домовладельцем сверх покупной цены земли, вследствие новых построек, от установления новых кварталов, от приращения населения и т. д. В силу этого права, общество могло бы вступаться в квартирные контракты и, оставляя в неприкосновенности права города, оберегать жильцов от излишних притязаний домовладельцев. Почему же законодатель не

сделал ничего подобного? Отчего это пренебрежение значительными ценностями, которые возникли совершенно помимо самого собственника и обязаны своим происхождением с одной стороны промышленной деятельности жильцов, а с другой – развитию города? Рассчитывая на повышение квартир и мест и на покровительство закона и зная, быть может, заранее намерения правительства, такой-то покупает огромные участки земли, которые обходятся ему по 30 фр. квадратный метр, и потом перепродает их по 200 фр. Это знают, но молчат. Почему?

Можно ли после этого удивляться, что в продолжение последних пятнадцати лет квартирные цены несоразмерно возрасли, что произвол собственника стал совершенно невыносим. Здесь место, которое прежде было незанято, а теперь застроено зданиями, нанимается по 5 франков за кубический метр; в другом месте оно нанимается по 15, 20 и 25 франков. Такой-то дом приносит 6 %, а другой 30 и 50 %. Притом собственник следует примеру свода законов; он принимает в соображение если не лица, то ремесла. Такое-то ремесло оказывается ему не по вкусу; или ему вздумается не принимать детей; другой изгоняет семейных жильцов и старается выбирать только одинокие четы.

Поэтому всюду раздаются жалобы. Работаешь только на собственников и для налога, говорят рабочие и мелкие мещане. Этой анархии квартирных контрактов следует приписать бесчисленное множество банкротств, а ежегодный неправильный доход, который приносят квартирные условия во всей Франции, можно оценить почти в миллиард.

При общественном устройстве, основанном на взаимности, было бы в высшей степени легко сделать наем квартир правильным, нисколько не нарушая при этом закона предложения и спроса и следуя требованиям чистой справедливости. Для этого следовало бы употребить три непреложно-верных и безошибочных средства.

а) Закон 3 сентября 1807 года о таксе денежных процентов.

В статьях 1 и 2 этого закона сказано:

«Законный процент не должен превышать в гражданских сделках пяти %; в торговых же сделках шести %, и притом без вычета».

Но законодатель не относил это к одним только ссужаемым суммам или к ценностям, которые уплачиваются звонкою монетою; он разумел при этом всякого рода капиталы, товары и продукты, всякое сырье, всякую недвижимость, а также и деньги. Таким образом негодичант, фабрикант или земледелец, который обязался поставить к данному сроку известное количество товаров и, не сдержав своего обещания, понес убыток, платит по 5 или 6 % в год с капитала, смотря потому, будет-ли сделка гражданская или торговая; точно также и покупатель, который не уплатил в срок чистоганом подписанного им обязательства.

О деньгах упоминается в законе только как о представителе ценностей, как о средстве выразить капиталы и продукты.

А что же такое наем квартиры? Это контракт, по которому одна сторона, называемая домохозяином, предоставляет другой стороне – нанимателю, дом или квартиру на известное

время и за определенную цену, выплачиваемую деньгами. В политической экономии этот дом или эта квартира равняются всякой другой ценности, всякому другому капиталу, всякому другому продукту; я скажу даже, что они такой же товар. Правда, что в законе 3 сентября 1807 г. законодатель не понял этого. Определение квартирной цены он предоставил на произвол договаривающихся сторон, хотя логическим образом квартирная такса должна быть непременно следствием установления таксы на денежный процент. Таким образом, он дал собственности еще одну лишнюю привилегию, еще одно лишнее преимущество. Но ясно, что закону ничто не мешает отнять эту привилегию, уничтожить этот особый закон и сказать домовладельцам: такса денежного процента при гражданских сделках определена в 5%, при торговых сделках в 6%, и это простирается на всевозможные продажи, покупки, наймы, услуги, обмены и т. д., без различия движимостей и недвижимостей, капиталов, товаров, продуктов или денег. Вы больше всех пользуетесь этим ограничением и потому должны в свою очередь подчиняться общему закону; вам будут платить тот же процент, который вы платите вашему банкиру, вашему поставщику. Взаимость – справедливость.

b) Другое средство к обузданию домово́й собственности заключается в предъявлении права общества на всю ту сумму, на которую поднялась покупная цена земли независимо от собственников. Об этом мы уже говорили.

c) Наконец, я предлагаю объявить, что наем квартиры есть торговая сделка. Разве не торговцы те, которые нанимают дом, меблируют его, а потом отдают его снова в наймы на неделю, месяц, год отдельными комнатами, номерами и квартирами? Разве не торговцы те предприниматели, которые занимаются постройкою домов и потом сдают или перепродают их совершенно также, как купцы, продающие мебель или отдающие ее напрокат? Чем же операции, относящиеся к домам и строениям, отличаются от тех, которые закон называет торговыми сделками: от мануфактурных предприятий, поставок, театров, построек, оснащений, найма судов и т. д.?

Кроме того из уподобления найма квартир вышеозначенным торговым операциям, из этого уподобления, совершенно логичного и неопровержимого, если притом закон 1807 года будет распространен и на наем квартир и если признают право города на излишек стоимости застроенных земель сверх покупной цены, вышло бы следующее:

1) Все законодательство, относящееся к найму квартир, должно было бы преобразоваться в лучшем духе: не было бы этих преимуществ собственникам; этих капризов, этих безумных надбавок, которые доводят семейства до отчаяния и разоряют фабрикантов и лавочников; произвол был бы вытеснен из целого разряда сделок, составляющих один из главных вопросов в жизни масс и важность которых измеряется во Франции миллиардами. Стараниями власти была бы составлена статистика квартир: учредилась бы лучшая полиция, на которую было бы возложено попечение о гигиене жилищ; для покупки земель, постройки, содержания и населения домов могли бы образоваться артели каменьщиков, которые действовали бы в видах общих интересов и составляли бы конкуренцию прежним собственникам. Я оставляю в стороне подробности этой реформы, довольствуясь указанием на принцип и дух её.

Но кто не видит, что без энергического вмешательства общественного мнения это великое дело восстановления справедливости останется навсегда утопией?

ГЛАВА XI. Приложение закона взаимности к условиям перевозки. – Отношения между отправляющими товар, коммиссионерами, подводчиками и приемщиками по экон-му праву. – Ж/д и общественные занятия

Если бы ежедневные факты нашей жизни не убеждали нас, никто не захотел бы верить, как медленно вырабатывается человеческая нравственность, как трудно ей дойти до того, чтобы отличать справедливое от несправедливого. Осуждение и последовавшие за ним запрещение и законное преследование разбоя и воровства начались не более трех тысяч лет тому назад. Но под словами воровство, разбой, мошенничество понимали до настоящей минуты только самые насильственные и грубые факты похищения чужого достояния; в этом легко убедиться, просматривая перечень нарушений собственности, указанных и определенных в своде уголовных законов. Премудрость древних еще с самого начала предлагала нам свое правило, проникнутое духом взаимности: «делай другим то, чего себе

желаешь; не делай другим того, чего не желаешь себе». Это высокое предписание права мы всегда считали простым советом милосердия, выражением чисто произвольной благотворительности, которая нисколько необязательна для совести; мы жили под опекою палача и полиции, и в самых важных вопросах социальной экономии остались все такими же дикарями, как и первобытные люди, которые, утомившись убийством, грабежом и насилием, условились взаимно уважать чужое достояние, чужих жен и жизнь, и таким образом основали первые общества.

Когда мы толкуем о взаимности, об учреждениях, основанных на этом учении, можно подумать, что мы проповедуем что-то новое. Простолюдин и буржуа, предприниматель и наемщик, финансист и торговец, собственник и фермер, чиновник и священник, экономист и юрист, государственный человек и простой гражданин – все едва понимают нас; наши рассуждения им недоступны, и наши непонятные слова пропадают для них даром. Взаимное страхование – идея старая; ее охотно допускают, но лишь в теории, а не как выражение справедливости; лишь как вид свободной сделки, а не как обязательное право, в силу которого признавались бы виновными и тот, который спекулирует на несолидарность рисков и для своего обогащения пользуется общественным бедствием, и правительство, допускающее такие поступки, и общество, одобряющее их. Если в наше время общественное мнение относится таким образом к самой элементарной форме взаимности, к взаимному страхованию, то чего же нам ждать от него в вопросах, касающихся определения ценностей, добросовестности в торговых сделках, обмена услуг и продуктов, найма квартир и т. д.? Кого вы убедите, что скрытность в деле спроса и предложения есть неделикатность, даже более – настоящее нарушение справедливости, покушение на собственность? Как убедить работника, что, по совести, ему также непозволительно ценить свой труд выше его стоимости, как непозволительно хозяину сбивать цену? «На здоровую кошку здоровая крыса; защищайтесь, и я буду защищаться; всякий за себя, Бог за всех; на войне по-военному» – ответят вам и наговорят еще целую сотню подобных правил, оставшихся нам на память от эпохи варварства, когда грабеж и воровство считались справедливой наградой воина.

Разве собственник не хозяин у себя в доме? Разве он не получил этот дом в наследство от отца, не купил его на свои деньги, не построил его своими руками? Разве он не в праве разрушить его или надстроить над ним один или несколько этажей, жить в нем с своим семейством или превратить его в сарай, в магазин, в хлев, заменить его садом или местом для игры в кегли? Что ж вы тут толкуете о взаимности? к чему это хитрое поползновение сбавлять и определять законом квартирные цены, под предлогом лихоимства, дешевизны капиталов, права общества на излишек стоимости земель сверх покупной цены, и т. д.? Настоящая собственность ведет за собою право приращения, право накопления капиталов, следовательно, исключительное право на увеличенную ценность, которая есть благословение, ниспосылаемое собственнику самим небом. Уважайте же собственность; во всем этом действует только закон спроса и предложения во всей своей энергичной и первобытной простоте; собственник связан только своим словом.

Вот что говорят люди, не дающие себе даже труда заметить, что в силу такой привилегии, закон предложения и спроса является несравненно более мягким для домовладельцев, чем для купцов, фабрикантов и рабочих. У рабочего выторговывают его задельную плату, у

купца – его товар, у фабриканта – его услугу; всякий ставит им почти в преступление недобросовестное повышение цен; а между тем, кто обратится с подобным упреком к домовладельцу? Он как бы воплощен в своей недвижимости. Если его условия слишком тягостны, проходите мимо, без замечаний. А какой ему почет от государства! Как его берегут! Полиция отнимает у торговцев и выбрасывает сырые плоды, молоко, сболтанное с водою, напитки сомнительного изготовления, испорченную говядину, у неё есть законы против ростовщиков и спекуляторов; она в случае нужды умеет ограничить некоторые монополии. Прошло лет 40 с тех пор, как принцип общественной пользы ограничил до некоторой степени злоупотребления собственности. Но как осторожно обращаются с этою могущественною кастой, которая по прежнему считается благородною! Как заботятся о её вознаграждении! Сколько собственников обогатились через лишение собственности, благодаря тому, что государство возжелало их наследства, подобно сюзерену, удостаивающему своим взглядом дочь своего вассала!

Мы увидим, что эти предубеждения, принадлежащие эпохе, пресыщенной эгоизмом, пропитанной неправдою, еще более развиты в той отрасли промышленности, которая, несмотря на свою важность и древность, никогда еще не была проникнута чистым лучом права.

Какую связь солидарности, какую взаимность можно установить между публикою и предпринимателем перевозки? Перечитайте статьи 96–108 торгового устава, и вы увидите, что законодатель, нимало не думая отыскивать здесь нить справедливости, старался только о том, чтобы обеспечить предпринимателя, строго определив ответственность подводчика. Это точно два разные враждебные друг другу мира, которые, несмотря на свои временные отношения, постоянно остаются чужды друг друга: когда кладь сдана прикащику, он на время становится будто её собственником: все, что относится к доставке, – способ доставки, её условия, её продолжительность, все что может случиться с кладью в дороге, – все это исключительно его дело. Контракт между подводчиком и предпринимателем можно выразить двумя словами: полная ответственность падает на первого; фрахтовые деньги выплачиваются вторым. Из этого следует, что во всем, что относится к обращению продуктов, торговля, промышленность и земледелие вообще преданы на произвол комиссионеров перевозки; отдых и облегчение наступают только во время вражды, возникающей между предпринимателем и комиссионером, но за вражду эту почти всегда платит публика.

Не подлежит никакому сомнению, что в годину несчастий, когда государства воюют между собою, когда промышленность слаба, путешествия опасны, дела затруднительны, контракты взаимной гарантии между публикою и предприятием перевозки становятся почти невыполнимы, комиссионер и подводчик, равно как и отправляющий и поручитель всегда предпочтут сохранить свою свободу. Но отчего предприниматели перевозки никогда не умели согласиться с торговцами в такой стране, как Франция, где дела уже так давно достигли широкого развития и где обращение так безопасно? В продолжении десяти лет я имел дело с внутренним судоходством, и оно заглохло на моих глазах, потому что не могло организоваться. У нас только тогда поняли, что в деле перевозки возможен справедливый договор, выгодный для всех интересов, когда правительство отдало железные дороги в руки монополии, присущей такого рода предприятием, в руки союза компаний. А между тем,

что может быть проще идеи такого договора.

Для этого нужно, чтобы предприниматели перевозки объявили бы промышленникам, торговцам, земледельцам тех местностей, с которыми они имеют дело: обеспечьте нам ваши заказы, а мы с своей стороны обещаем вам:

Все доставки от пунктов А, В, С, D к пунктам X, Y, Z.

Мы обещаем вам доставку, когда хотите, медленнее или скорее, или в определенный срок; мы обещаем вам периодически отправлять транспорты каждые два, три, четыре, пять дней; наконец, мы ручаемся вам, что будут установлены определенные цены, сообразно клади. Наш договор будет взаимный, на год или на несколько лет и будет изменяться каждый раз, когда плата за комиссию понизится, вследствие какого-нибудь нововведения или серьезной конкуренции. В таком случае вы должны будете уведомить нас заранее, чтобы дать нам возможность принять свои меры и сохранить за собой вашу практику.

Странное дело: при инициативе нескольких личностей, в транспортной торговле принцип взаимности может установиться прочнее и в более обширных размерах, чем во всех других предприятиях. Если бы преобразовался порядок обращения, то этим самым была бы перестроена вся система. Но таков рок, управляющий человеческими делами: компании судоходства никогда не понимали этого простого условия; они никогда не предлагали его, и, кажется, публика с своей стороны, едва ли согласилась бы принять его. Публика похожа на компании: она любит риск, ажиотаж. Если бы компании перевозок водой и главные комиссионеры принялись действовать таким образом с 1840 года, то тарифы их были бы приняты за максимум, приобрели бы законную силу, и в наше время перевоз обходился бы стране с человека и с километра 5 сантимов за первое место и 2 с. за второе; за товары, с большою и малою скоростью, приходилось бы, как по воде, так и по железной дороге, от 1 1/2 до 5 сантимов.

Вместо того судоходство было почти повсеместно покинуто, а компании железных дорог по тарифам, составленным для них недалёковидным законодательством, берут:

С пассажиров: 10 сантимов, 5, 7, 7, и 5, 7 с человека и на километр.

С товаров: 9, 12, 14 и 21 сант. с тонны и километра.

С хлеба, с которого при неурожае следовало бы платить не более 2 сантимов, платят теперь 5; – с устриц, с свежей морской рыбы и т. п. товаров, требующих самой скорой доставки, платят 55 сантимов. Знаете ли, какое влияние имеет этот тариф на цены припасов? Когда в Бордо и Маконе дюжина хороших персиков продавалась везде по 10 сантимов, в Париже их нельзя было достать дешевле 15, 20 и 50 сантимов за штуку.

Если бы правительство Людовика Филиппа, порожденное идеями 1789 года, было менее ослеплено своими идеями иерархии и власти, если бы еще в 1842 году оно успело убедиться, что оно не более как представитель или орган отношений взаимности и солидарности всех родов, какие только существуют и с течением времени все более и более развиваются между гражданами, – то в постановлениях о железных дорогах ему

представлялся единственный случай создать и дешевизну перевозов, и торговую и промышленную взаимность, т. е., другими словами, положить основание экономическому праву. Оно сказало бы себе, – а это превосходно понимает самый последний работник, что такое общественное дело, как железные дороги, не может быть предоставлено в пользование одному классу общества; не должно быть превращено, в ущерб массе, в источник доходов для полчища акционеров; поняв это, оно организовало бы перевозочную комиссию или, по крайней мере, основываясь на принципах взаимности и экономического равенства, поручило бы ее рабочим артелям.

Кто сомневается в наше время, что и без помощи анонимных компаний Французский народ мог бы устроить у себя железные дороги и, будучи в одно и то же время и возщиком, и отправщиком, упрочить за собою навсегда возможную дешевизну сообщений? Но видам правительства вовсе не соответствуют железные дороги, которые выстроены и которыми пользуются по принципу взаимности; которые требуют за свою службу только сумму, равную издержкам на устройство и содержание их; которым, в силу юридической аксиомы, что нельзя быть рабом своей вещи, *Res sua nulli servit*, не пришлось бы возвращать затраченного на них капитала; акции которых не вызывали бы ни повышения, ни понижения, потому что не было бы ни уступок, ни акционеров; которые, благодаря своей крайней дешевизне, принесли бы пользу только одной нации, не обогащая дармоедов; – нет, такие железные дороги не соответствовали бы желаниям правительства. Двести миллионов – приблизительная сумма чистого годового дохода, приносимого железными дорогами –, оставаясь в торговле, земледелии, промышленности, послужили бы немаловажным пособием для развития общественного богатства[12]. Но правительство и палаты Людовика Филиппа разочли, что гораздо лучше положить их в карманы своих друзей, финансистов, предпринимателей и акционеров. Народ имел привычку оплачивать все, даже то, что делалось для него, на его же собственные деньги; что же было бы, если бы ему вдруг сообщили, что, так как дороги выстроены на его счет, то ему следует платить за провоз только то, что стоит их содержание, а о процентах и речи быть не может? Кроме того были не прочь способствовать развитию зажиточного и тунеядствующего класса, увеличить число приверженцев правительства, создать интересы, преданные власти, которая с каждым днем слабела от наплыва народных интересов. И нынешнее правительство во всех этих отношениях так плохо понимает свой истинный закон, что после Крымской и Ломбардской войн прибавило к тарифам железных дорог еще военную десятину; таким образом по безрассудной алчности оно сделалось сообщником паразитной эксплуатации промышленности, которая, по самой сущности своей, не должна приносить никому ни ежегодных доходов, ни выгод и тем производительнее должна быть для всех.

Миллионы и миллиарды – вот во что ежегодно обходится нации нарушение экономического права, презрение закона взаимности. Быть может, вы воображаете, что железные дороги были выстроены на капиталы компаний? Нет; компании внесли только самую малую часть затраченного капитала, как будто для того только, чтобы иметь потом предлог заявить притязания на весь доход. В силу закона 1842 на счет государства падают расходы по вознаграждению за отнятые земли и постройки, а также на устройство насыпей, искусственных сооружений и станций. Что же остается делать компаниям? Прокладывать рельсы и поставлять материал. А какая же доля приходится государству из дохода? – Нуль; что я говорю? государство не только не берет никакого дохода, но еще гарантирует

компаниям минимум дивиденда. Таким образом можно сказать, что в железных дорогах, построенных на основании закона 1842, самые крупные расходы ложатся на счет государства, т. е. страны, а когда дело доходит до дележа дохода, государство отступает перед компаниями. Ни одна ошибка правительства не давала такого полного торжества анархическому торгашеству. Я сказал, что орудия общественного обращения создаются страной и должны быть отданы стране в даровое пользование. Правительство 1830 года отдало их за безценок компаниям, которые берут за них большие деньги; оно ни более ни менее как ошиблось в адресе.

Идея взаимности – одна из самых простых идей, но до неё никогда не додумывались ни аристократия, ни монархия, ни теократия, словом, ни одно правительство. Средства сообщения – вот та область, где личная инициатива всего удобнее могла бы совершить эту великую реформу; но чтобы осуществить её только в железных дорогах и каналах, необходим целый экономический переворот во всей стране.

ГЛАВА XII. О взаимном кредите

Слово кредит вошло во всеобщее употребление и ежеминутно произносится людьми всех сословий, но, несмотря на это, остается для большинства двусмысленным. Народ по большей части придает ему такое значение, какого он не имеет ни в делах, ни в политической экономии, ни, следовательно, во взаимности. Это происходит оттого, что экономический язык составил не так, как язык Химии и Права; над ним трудились не ученые, а практические люди, лишенные познаний и философии, принимавшие за благодеяние то, что следовало считать рассчитанной сделкой, смешивавшие таким образом самые противоположные понятия и наконец усвоившие себе нечто более похожее на воровскую терминологию, чем на разумную речь.

Кредит есть искаженное латинское слово *credit-us* или *credit-um*, страдательное мужеское или среднее причастие от глагола *credo*, который значит верить или доверять. Продавать в кредит – испорченная латинская фраза, которая значит продавать тому, кому веришь, или продавать по доверию, т. е. надеясь на обещание покупателя, что он впоследствии заплатит. Давать в займы в кредит значит точно также давать не по поручительству и не под залог, но в надежде, что данное будет возвращено. Стало быть, кредит есть доверие: прежде слово это иначе и не понималось.

Теперь дело другое: кредит вовсе не выражает доверия, что ни толкуй об этом современные лихоимцы. Кредит превратился в операцию по преимуществу торгашескую и корыстную, где личности, называемые капиталистами или купцами, дают свои капиталы или товары нуждающимся людям, которых называют покупателями или должниками. Но когда чтонибудь дается таким образом, без немедленной уплаты, то это делается вовсе не на слово и не даром, как думает народ; дают под залог движимого или недвижимого имущества, по поручительству, и получают за это премию, которая часто платится вперед, вычитается и которую называют процентом: все это совершенно противоположно тому, что обыкновенно понимают под словом кредит.

В принципе, заимодавец не доверяет никому: он верит только залогу. Может статься, что по добродушию, как человек и друг, он одолжит другого, в честности которого не сомневается; но в делах кредитом называется вовсе не то. Если банкир ведет свои счета осторожно и правильно, то не запишет в своих конторских книгах на имя своего друга сумму, которую дал ему на слово; он запишет эту сумму на свое имя, потому что ее нельзя требовать в назначенный срок, и потому что, давая в долг таким образом, порукою он был сам; а это значит, что в подобном случае на самом деле он доверяет только самому себе.

Кредит можно, стало быть, понимать двояким образом: есть кредит вещественный, который основывается на вещах или залогах, и кредит личный, который гарантируется единственно добросовестностью должника. Народ всеми силами стремится к личному кредиту: он иначе не понимает взаимности. Поговорите с простым человеком о залогах, о поручительстве, о двойной или тройной подписи, или хоть о торговом векселе, представляющем ценность, которая выдана и везде может быть принята: – он перестанет понимать нас и примет все ваши предосторожности за оскорбление. Так не делается между добрыми знакомыми, подумает он. – Я двадцать лет занимаюсь моим ремеслом, скажет вам этот работник; вот вам свидетельство о моем поведении; я желаю занять лично на себя, и мне нужно 3,000 франков. Можете вы дать мне их? – Он изумится, если вы скажете ему, что в делах во взаимном банке, как и во всяком другом, принято за правило верить не человеку, а залогу.

Воспитать в этом отношении народ – дело управляющих и директоров обществ взаимного кредита. Я очень опасаюсь, чтобы неуместная снисходительность или неосновательная боязнь нарушить свою программу не увлекли некоторые общества в неосторожные и рискованные займы. Необходимо, чтобы работники усвоили истинные принципы; надо, чтобы они твердо убедились, что в деле кредита более, чем во всяком другом деле, надо строго различать Милосердие и Право; что общество, основанное на принципе взаимности, не следует смешивать с обществом вспомоществования – словом, что дела не имеют ничего общего с подвигами милосердия и филантропии. Рабочие общества должны позволять себе личный кредит лишь изредка, и то с величайшей осмотрительностью, хотя в строгом смысле он то и есть настоящий кредит; иначе они рискуют превратиться в скором времени в филантропические учреждения, разориться, благодаря лицепритию, фальшивым векселям, нравственным гарантиям, и наконец лишиться чести.

Что же мы назовем взаимным кредитом?

Кредитные операции делятся на две большие категории: 1) учет торговых ценностей, 2) ссуда капитала земледелию и промышленности.

Каждая из этих операций требует непременно положительного, вещественного залога. Таким образом, когда негодник нуждается в звонкой монете, он достает ее посредством векселей, выдаваемых им на своих клиентов-должников и, кроме того еще за подписью другого негодника или банкира, а иногда двух, что составляет три и даже четыре ручательства: 1) плательщик, 2) векселедатель, 3) надписатель или надписатели; каждый из них отвечает и личностью, и имуществом. Во время кризиса часто случается, что негодники достают деньги под залог товаров, которые обыкновенно стоят втрое и вчетверо дороже ссужаемой под них суммы. Надо, чтобы рабочий люд твердо помнил, что взаимность не может освободить их ни от одного из этих ручательств, на которых основывается кредит. Дело совсем не в этом.

Мы сказали выше, что кредит не дается на простые обещания, а под залог наличных имуществ; кроме того это операция корыстная, требующая для заимодавца вознаграждения или выгоды, настоящей премии, равносильной страховой премии, колеблющейся между 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8 и 9% в год и называемой процентом. к этому проценту банкиры часто прибавляют плату за комиссию и другие мелкие издержки, которые часто возвышают ссуду

еще на 1%. Дело в том, чтобы взаимностью уменьшить этот процент и побочные расходы, как в торговых учетах, так и в займах под залог для земледелия и промышленности.

В последние семнадцать лет я писал слишком много по вопросу о взаимном кредите и потому не считаю себя обязанным вдаваться теперь в пространные объяснения по этому предмету; достаточно будет нескольких слов.

Денежный процент, максимум которого определен законом 3 сентября 1807 года в 6% для торговых сделок и в 5% для гражданских, составляет для труда самый тяжелый гнет, а для потребления – самый неосновательный и вредный налог. Достаточно вспомнить, что торговые учеты дают одному французскому банку и его конторам до 40 миллионов чистого барыша; что же касается ссуды капиталов земледелию и промышленности, то в 1857 году вся сумма залогов простиралась до 12 миллиардов, что составляет по крайней мере 600 миллионов процентов.

Касательно обращения и учета ясно, что торговый процент 6, 7, 8 и 9%, взимаемый банкирами, составляет дань, которую негодяи благосклонно платят тем, в чьих руках скопляется звонкая монета; купцы могли бы страховать друг друга за самую небольшую премию, которую неудовольствуется ни одна компания; действуя с разрешения правительства, они могли бы обеспечить себе доставку на 60 и 80% дешевле тарифа железных дорог; – они могли бы, с помощью или без помощи правительственного вмешательства, ссужать друг друга по таким процентам, до которых не мог бы низойти ни один капиталист.

Когда в 1848 году, благодаря инициативе временного правительства и торговой подписке, была основана учетная контора, кто мешал тогда правительству, вдвойне гарантировавшему этот новый банк облигациями города Парижа и билетами казначейства, постановить, что акционеры конторы будут пользоваться учетом своих векселей без процентов, получая простое вознаграждение за комиссию? Вскоре всякий стал бы добиваться этой выгоды, стал бы просить акций, то есть выкупал бы добровольным единовременным взносом ту дань, которую платил банкирам ежегодно. Но в 1848 году февральская республика вся углубилась в политику; ей не было дела до взаимности; довольная тем, что пустила в ход новую машину, она отказалась в пользу акционеров от всякого участия в барышах. Теперь государство взяло назад свою гарантию, сделавшуюся бесполезною; капитал конторы, состоявший прежде из 6,666,500 франков вклада акционеров, возрос до 20,000,000, а акции, стоившие вначале 500 фр., ценятся на бирже в 980 франков.

Что же касается ссуд в пользу земледелия и промышленности, то так как они состоят из сырых материалов, рабочих инструментов, скота, припасов и рабочих рук, так как выражение – поземельный кредит означает вовсе не ссуды земель, лугов, полей, виноградников, лесов, домов или других недвижимостей, а просто ссуды работ и запасов; так как звонкая монета служит здесь, как и в торговле, только средством обмена; так как, поэтому, означенные ссуды могут делаться лишь из сбережений нации, и так как, следовательно, единственное назначение поземельного кредита состоит в том, чтобы облегчать своим посредничеством заключение займов, потому что подобная операция

гораздо более походит на срочную продажу, чем на заем под залог, – то из всего этого опять таки ясно, что и здесь взаимность может и должна получить самое блистательное приложение, потому что дело идет только о практическом осуществлении того, что в сущности уже имеет действительную силу, – а именно, что истинные заимодавцы – производители, что займы даются не деньги, а сырые материалы, рабочие дни, инструменты и запасы; что для этой цели следует учредить не банк, а скорее магазины и склады; наконец, что всякие ссуды подобного рода должны делаться в виду воспроизведения, и что поэтому производители должны организовать свои взаимные ссуды посредством синдиката; это доставило бы им дешевизну, невозможную для менял.

Нельзя надивиться тому странному обаянию, которое деньги производят на наших финансовых рутинеров и псевдоэкономистов. Когда в 1848 году в республиканском собрании занялись учреждением поземельного кредита, спасителя нашего земледелия, то в виду имели только одно: создать с возможно меньшим количеством звонкой монеты возможно большую сумму в кредитных билетах; совершенно тоже делалось и во французском банке. Но чем больше мечтали об этом, тем больше встречали затруднений. Во-первых, никто не хотел согласиться ссужать свои деньги по 3, 3,65 %, так чтобы новое учреждение могло снова отдавать их займы под залог на 20–60 лет по 5, 5 1/2 или 6 %, включая сюда расходы по погашению и издержки на управление. Кроме того, если бы и нашлись заимодавцы, к чему же это привело бы? Заклад недвижимых имений, тем не менее, шел бы своим чередом; земледельческий долг возростал бы и становился бы все более и более неоплатным, и учреждение поземельного кредита привело бы к общему отчуждению собственности, если бы продолжали занимать по 6 и 5 процентов, тогда как земля дает дохода всего 2 %. Когда противоречие явилось таким образом с обеих сторон – и со стороны капиталистов, и со стороны земледельческого долга, это превосходное учреждение поземельного кредита, на которое возлагалось столько надежд и которое сначала приписывали императорскому правительству, было покинуто: теперь земледелие занялось совсем другим. Мы сейчас упомянули, что вся сумма залогов простирается до 12 миллиардов. Чтобы поземельный кредит мог удобно выплачивать или пускать в обращение такую сумму, нужно, чтобы он, подобно банку, собрал в своих кассах звонкой монетой по крайней мере третью часть этого капитала, то есть, 4 миллиарда, которые служили бы залогом на 12 миллиардов билетов. Не смешно ли это до последней степени? А между тем это-то и было камнем преткновения, о который разбились и искусство наших финансистов, и ученость наших экономистов, и надежда наших агрономов–республиканцев!... *Stupete gentes!*

Стало быть, здесь, как и везде, приходится истреблять тройное злоупотребление, которое уже давно исчезло бы, если бы не глупость наших предпринимателей и не потачка им со стороны наших правительств:

1. Все более и более упорное нарушение экономического права.
2. Безвозмездная и постоянно возрастающая потеря части ежегодно создаваемого богатства под видом процентов.
3. Развитие чудовищного тунеядства, все более и более развращающего общество.

Реформы в духе взаимности отличаются тем, что они в одно и то же время и строго держатся права, и проникнуты высокой общественностью: цель состоит в том, чтобы прекратить всякого рода поборы, взимаемые теперь с работников под такими предложениями и такими средствами, которые когда-нибудь будут оговорены в конституции и вменены правительству в преступление[13].

Взаимность, которую в наше время так страстно отрицают защитники привилегий и которая составляет отличительную черту нового учения, не требует, чтобы мы давали займы, ничего за это не ожидая: *Mutuuum date, nihil inde sperantes*. Отступая от нравственного учения древних моралистов, новейшие теологи подняли вопрос о том, заключается ли в этих словах положительное запрещение давать в долг на проценты; считать ли их предписанием или просто советом. Различие, которое мы выше установили между законом милосердия и законом справедливости, и наше теперешнее объяснение личного кредита и кредита взаимного, который всегда должен быть обеспечен, но никогда не должен рассчитывать на выгоду, раскрывают нам истинный смысл этого изречения.

Моисей первый сказал еврею: Не бери процентов с брата, а лишь с чужеземца. Его главной целью было предупредить смешение и отчуждение наследств, которым в его время, как и в наше, угрожал заклад. С той же целью он установил отпущение долгов через каждые 50 лет. Но Иисус Христос, обобщая закон Моисея, говорит: Давай в долг без процентов и брату, и еврею, и чужеземцу. Таким образом он закончил век эгоизма, век национальностей и открыл период любви, эру человечности. Теперь, не возвращаясь к общинности и к милосердию, мы утверждаем экономическую взаимность, где никто ни от кого не требует жертвы и где каждый получает всякую вещь за настоящую цену труда. Несмотря однако на простоту этой идеи, мы можем сказать о себе: Они нас не поняли – *Et sui eum non comprehenderunt*[14].

Прикрытый ложным именем свободы, эгоизм въелся в нас и развратил все наше существо. Нет на свете той страсти, той ошибки и той формы порока и неправды, которая не лишала бы нас доли нашего скудного продовольствия. Мы платим дань невежеству, случаю, предрассудку, ажиотажу, монополии, шарлатанству, рекламе, безвкусию, платим такую же дань чувственности и лени, кризисам, застоям, стачкам, прекращению работ, не говоря уже о том, что, благодаря нашим рутинным привычкам, мы кроме того платим дань конкуренции, собственности, власти, религии, даже науке, об уничтожении которой, очевидно, не может быть и речи, – всему этому платим мы дань, превышающую оказываемые нам услуги. Везде экономическое право нарушается в своих основных принципах, и везде это нарушение влечет за собою, в ущерб нам, отчуждение богатства, развитие тунеядства и разврат общественных нравов.

ГЛАВА XIII. Об ассоциации, основанной на взаимности

Мне казалось, что я должен посвятить особую главу этому вопросу, который занимает очень видное место в ряду рабочих недоразумений и где царит еще глубокий мрак. Авторы манифеста, подобно своим люксембургским товарищам, превозносят ассоциацию и считают ее могущественным средством порядка, нравственности, богатства и прогресса. Но до сих пор ни те, ни другие не умели распознать ее; все смешивают ее с взаимностью; многие смешивают с общиной; кроме гражданского и торгового свода законов, которым притом работники не интересуются, никто не сумел выяснить её вредный или полезный характер, а, главное, никто не понял тех изменений, которым она должна будет подчиниться при порядке вещей, основанном на взаимности.

Я попытаюсь, насколько хватит сил, осветить этот интересный предмет и, принимая в расчёт выгоду рабочих обществ, которые повсеместно развиваются и которым живо сочувствуют многие политические знаменитости, думаю пополнить немногими словами этот важный пробел.

Экономическими силами я называю известные формы действия, клонящиеся к тому, чтобы увеличивать силу труда и делать ее могущественнее, чем она была бы, будучи совершенно предоставлена индивидуальной свободе.

Таким образом, то, что называют разделением труда или обособлением промышленности, есть экономическая сила: со времен А. Смита было тысячу раз доказано, что данное число рабочих наработает в четыре раза, в десять раз, в двадцать раз больше, если систематическим образом разделит между собою труд, чем если бы каждый работал отдельно и если бы все делали тоже самое дело, не входя в соглашения и не соединяя своих усилий.

По той же или, скорее, по противоположной причине, сила, которую я, один из первых, назвал силою совокупности, есть тоже экономическая сила: доказано, что данное число работников легко и скоро исполнит работу, которая была бы невозможна для тех же самых рабочих, если бы вместо того, чтобы совокупить свои усилия, они захотели действовать врознь.

Приложение машин к промышленности есть тоже экономическая сила: это нечего и доказывать. Машины дают человеку возможность делать большее усилие, вследствие чего труд становится более производительным, доход – увеличивается: происходящее от этого приращение богатства свидетельствует о присутствии здесь экономической силы.

Конкуренция – экономическая сила, потому что возбуждает деятельность рабочего.

Ассоциация – другая экономическая сила, потому что внушает ему доверие и спокойствие.

Наконец, обмен, кредит, золото и серебро, обращенные в монету, самая собственность – все это экономические силы.

Но самая великая, самая святая из экономических сил – та, которая соединяет с сочетаниями труда все открытия разума и санкции совести; это взаимность, в которой, так сказать, сливаются все другие силы.

Путем взаимности в право вступают другие экономические силы; они становятся, так сказать, составными частями права человека и производителя; без этого они оставались бы одинаково безучастными и к общественному злу, и к общественному благу; в них нет ничего обязательного; сами по себе, они не представляют никакого нравственного характера. Всем известны излишества, чтобы не сказать, неистовства разделения труда и машин; – неистовства конкуренции, плутни торговли, грабежи кредита, проституция денег, тирания собственности. Все эти обвинения уже давно истощены, и настаивать на них при современной демократии значило бы терять напрасно время, проповедуя обращенным. Одна только взаимность, удовлетворяющая и разуму, и совести, составляет взаимно обязывающий договор, который так долго был непризнан, но в тайне всегда соединял всех труженников и обязывал людей, оплодотворяя в то же время их труд. Она одна непобедима и непоколебима, потому что и в человеческих обществах, и во вселенной составляет Право и Силу.

Если рассматривать ассоциацию с её хорошей стороны, она, конечно, покажется мирною и братскою; я не стану опошливать ее в глазах народа – сохрани меня Боже!... Но ассоциация сама по себе, лишенная руководящей мысли Права, есть тем не менее случайная связь, основанная на чисто физиологическом и корыстном чувстве; – это свободное условие, которое можно расторгнуть, смотря по желанию; это ограниченная группа, о которой всегда можно сказать, что её члены, соединившиеся только для себя самих, соединились каждый и все против всех: так смотрел на это законодатель, и он не мог смотреть иначе.

О чем хлопочут например наши крупные ассоциации капиталистов, организованные в духе торгового и промышленного феодализма? Присвоить себе фабрикацию, обмен и выгоды, сгруппировать с этою целью под одним руководством самые разнообразные специальности, сосредоточить ремесла, соединить в одних руках должности, – словом – вытеснить мелкую промышленность, убить торговлю и превратить таким образом в наемщиков самую многочисленную и самую развитую часть буржуазии: и все это в пользу так называемых организаторов, основателей, директоров, администраторов, советников и акционеров этих громадных спекуляций. В Париже можно видеть множество примеров этой безчестной войны, которую крупные капиталы ведут против мелких: упоминать о них бесполезно. Толковали о центральном книжном магазине, который должен был состоять под командитством г. Перейры и заменить большую часть теперешних книжных магазинов: это новый способ господствовать над прессою и над идеями. Даже само общество литераторов, завидуя выгодам книгопродавцов, думает сделаться издателем всех сочинений,

выпускаемых в свет живыми авторами: эта страсть к насильственному завладению не знает себе границ; она служит ясным доказательством жалкого состояния умов. Я знал одно типографское заведение, которое соединяло у себя с набором и печатанием, нераздельными друг от друга, оптовую и мелочную книжную торговлю, торговлю бумагой, литье шрифтов, изготовление скоропечатных машин, отливку стереотипных досок, переплетное и столярное мастерство, и т. д. Кроме того хотели открыть при нем школу для учеников и маленькую академию. Это чудовищное заведение вскоре пало, благодаря плутням, тунеядству, растратам, конкуренции, возрастающему дефициту. Промышленный феодализм имеет те же стремления, и его ожидает такой же конец.

Чего добивались рабочие ассоциации люксембургской системы. Заменить при помощи государства ассоциации капиталистов союзом работников, то есть – все-таки вести войну против свободной промышленности и свободной торговли посредством централизации дел, соединения рабочих рук и превосходства капиталов. Вместо ста или двухсот тысяч заведений, имеющих торговое свидетельство, было бы только сто крупных ассоциаций, которые служили бы представителями различных отраслей промышленности и торговли, где рабочее население было бы дисциплинировано и окончательно порабощено высшим государственным соображениям этого братства, подобно тому, как в настоящую минуту его силятся поработить верховным требованиям капитала. Что выиграли бы от этого свобода, общественное благосостояние, цивилизация? Ничего. Мы переменили бы одни цепи на другие; но всего печальнее и всего яснее выказывает бессилие законодателей, предпринимателей и преобразователей то, что общественная идея не подвинулась бы ни на шаг вперед; мы по прежнему остались бы под тем же произволом, под тем же экономическим фатализмом.

Этот первый, беглый обзор коммунистических ассоциаций, впрочем неосуществившихся на деле, и товариществ на вере и на акциях, составленных по плану товарищеской анархии и нового феодализма, освященного законом и поддержанного властью, показал нам, что и те, и другие были основаны с частными целями, с расчётом на эгоистические выгоды; что в них нет ничего такого, что обнаруживало бы преобразовательную мысль, высшую цель цивилизации, хотя бы малейшую заботу о прогрессе и об обществе; напротив того, поступая так индивидуально и анархически, они ничто иное, как мелкие партии, организованные, против большой, в недрах которой они живут на её же счет.

Общие характеристические черты этих обществ, указанные в своде законов, обнаруживают их узость и ничтожество. Они состоят из определенного числа лиц, которые все, разумеется, означены поименно, по ремеслам, месту жительства и званию; каждый член вносит вклад; общество составлено с специальною целью и для исключительной выгоды, и срок его существования ограничен. Посторонние лица не допускаются. Во всем этом нет ничего, что соответствовало бы великим надеждам, которые рабочая демократия возлагает на ассоциацию: на каком основании может она надеяться получить от неё результаты, более человеческие, чем те, которые мы до сих пор видели? Ассоциация определяется сама собою, и основная черта её состоит в стремлении к обособлению. Можно ли устроить так, чтобы не существовало рядом отделенных и отличных друг от друга ассоциаций столяров, каменьщиков, ламповщиков, шляпочников, портных, сапожников и т. д.? Приходит ли комунибудь в голову, чтобы все эти ассоциации слились между собою и составили одно

всеобъемлющее общество? Можно смело предложить рабочей демократии разрешить эту задачу – что я говорю? – не только работникам, но и их советам, академии политических и нравственных наук, законодательному корпусу, поголовно всей школе правоведения; можно смело сказать, что всем им веками не придумать такой ассоциации, где соединялись бы, сливались бы воедино труд и выгоды двух разнородных групп, например, каменьщиков и краснодеревцов. Стало быть, не будучи солидарны, ассоциации по самой силе вещей будут соперничать между собою; их интересы будут противоположны друг другу; выйдут противоречия, возникнет вражда. Выхода из этого нет.

Но, скажут мне, разве мы не можем прибегнуть к принципу взаимности, чтобы согласить и примирить ассоциации, не сливая их?...

Давно бы так! Взаимность уже является как *Deus ex machina*. Узнаем же, чему она нас учит, и прежде всего заявим, что взаимность вовсе не то, что ассоциация, и что, одинаково любя свободу и сочетание, она равно чужда и прихоти, и нетерпимости.

Мы только что говорили о разделении труда. Результат этой экономической силы состоит в том, что, порождая специальности, она создает столько средоточий свободы, что ведет за собою разделение предприятий, то есть как раз противное тому, чего добиваются и защитники коммунистических ассоциаций, и основатели ассоциаций капиталистов. Соединяясь потом с законом естественного распределения населения по полосам, кантонам, общинам, кварталам, улицам, разделение труда приводит к следующему решительному результату: всякая промышленная специальность не только призвана развиваться и действовать в полной и совершенной независимости, при условиях взаимности, ответственности и обеспечения, которые составляют общее условие общества, но, кроме того, тоже распространяется и на промышленников, из которых каждый в том округе, где живет, служит своею личностью представителем какой нибудь специальности труда: в принципе эти промышленники должны оставаться свободными. Разделение труда, свобода, конкуренция, политическое и общественное равенство, достоинство человека и гражданина не допускают подчинения, какое влечет за собою патронство контор. Шестьдесят членов говорят в своем манифесте, что они не хотят клиентства, а патронство контор есть обратная сторона этого клиентства: в сущности это все одно и то же.

Из этого следует, что в ассоциации принцип взаимности состоит в том, чтобы люди составляли общества только тогда, когда того требуют самое производство, дешевизна продуктов нужды потребления, спокойствие самих производителей, когда становится равно невозможным ни публике полагаться на частную промышленность, ни частной промышленности брать на себя всю ответственность и одной нести весь риск предприятий. Тогда людей соединяет уже не система, не расчёт самолюбия, не дух партии, не пустая сентиментальность; их соединяет самая сила вещей, и так как, соединяясь таким образом, они повинуются только силе вещей, то могут сохранить свою свободу даже в ассоциации.

Эта сторона идеи взаимности, которая ясно вытекает из общих принципов, заявленных в манифесте Шестидесяти, может своим значением привлечь к новой демократии самые живые симпатии мелких буржуа, мелких промышленников, мелких торговцев.

Когда дело идет о производстве мануфактурном, металлургическом, морском, о разработке рудника, то здесь ассоциация, конечно, уместна: этого никто не станет оспаривать. Точно также уместна она в тех обширных предприятиях, которые носят на себе характер общественного дела, например в железных дорогах, кредитных учреждениях, доках и т. д. В своем месте я доказал, что в силу закона взаимности из этих предприятий должна быть устранена всякая выгода капиталов, и они должны быть отданы в руки общества, которое одно имеет право пользоваться ими и содержать их. В этом случае опять таки до последней степени ясно, что ни монопольные компании, ни общества, состоящие под покровительством государства и производящие работы от имени государства и на его счет, не могут поручиться за хорошее исполнение и дешевизну. Такое обеспечение могут дать только свободные члены обществ, связанные с публикою взаимностью, а между собою обыкновенной ассоциацией.

Но когда дело идет о многочисленных отраслях ремесл и торговли, которых так много в городах и даже в деревнях, – я уже не вижу необходимости и пользы ассоциации. Я тем менее вижу здесь пользу от ассоциации, что результат, которого можно было бы ожидать от неё, приобретает, помимо её, совокупностью взаимных обеспечений, взаимными страхованиями, взаимным кредитом, рыночною полициею и т. д. Скажу больше: как скоро эти обеспечения приняты, обществу гораздо безопаснее иметь в подобных случаях дело с одним предпринимателем, чем с компаниею.

Кто не видит, например, что мелкая торговля неизбежно должна существовать, потому что иначе крупные компании были бы поставлены в необходимость, ради удобства своих покупателей, всюду открывать магазины и конторы? Сверх того, в порядке вещей, основанном на взаимности, все мы, в отношении друг к другу, – клиенты, подчиненные, слуги. в этом то и состоит наша солидарность, которую авторы манифеста провозглашают наряду с правом на труд, свободой труда, взаимностью кредита, и т. д. Система поглощения, на которой основаны все большие компании капиталистов и люксембургские общины, обрекает человека на вечное подчинение, на вечную наемщину; неужели было бы худо, если бы он стал свободным продавцом, благодаря системе взаимности, где ажиотаж немислим? Назначение торговца состоит не только в том, чтобы продавать и покупать, имея в виду исключительно свою личную выгоду; оно должно возвыситься вместе с общественным порядком, часть которого оно составляет. Прежде всего торговец есть раздаватель продуктов, качество, изготовление, производство, ценность которых он должен знать в точности. Потребителям своего округа он должен сообщать сведения о ценах, о новых предметах, о предстоящей дороговизне, о возможности падения цен. Здесь необходима постоянная работа, требующая ума, усердия, честности; но, повторяю, при новых условиях, в которые нас ставит система взаимности, дело продавца нимало не требует гарантии (сомнительной, заметьте,) большой ассоциации. Для общественного спокойствия в этом случае достаточно всеобщего преобразования нравов путем принципов. Поэтому, спрашивается, зачем пропадать экономическому индивидуализму? Зачем нам мешаться в это? Организуем право, и пусть лавка делает свое дело. Благосклонность публики обратится на того, кто будет всех честнее и всех прилежнее.

Вот в чем, если не ошибаюсь, должны заключаться элементы союза между мелкою, промышленною и торговою буржуазиею и рабочими классами, того союза, который громко

провозгласили и которого требовали авторы манифеста.

«Без нас, говорит они с глубоким предчувствием истины, буржуазия не может основать ничего прочного; без её содействия наше освобождение может быть замедлено очень надолго. Соединимся же для общей цели – для торжества истинной демократии».

Повторим и мы за ними: здесь не может быть речи об изменении уже упроченных положений; дело идет просто о том, чтобы, посредством уменьшения платы за наем капиталов и квартир, посредством облегчения и удешевления учетной таксы, искоренения тунеядства, уничтожения ажиотажа, надзора за складами и рынками, посредством сбавки цен на перевоз, приведения ценностей в равновесие, высшего образования рабочих классов, посредством окончательного перевеса труда над капиталом, справедливой доли уважения к таланту и к должности, посредством всего этого, говорю я, воздать труду и честности то, что несправедливо отнято у них капиталистами; увеличить всеобщее благосостояние, упрочив существование каждой отдельной личности; предупредить точностью сделок разорения и банкротства; воспрепятствовать, как грабительству, возникновению огромных богатств, лишенных законного, действительного основания; короче – положить конец всем аномалиям и беспорядкам, которые здравая критика всегда считала хронической причиной нищеты и пролетариата.

Но к чему спорить о словах и терять время в бесполезных препирательствах? Чтобы ни говорили, народ верует в ассоциацию, он утверждает, предчувствует и предсказывает ее, а между тем нет другой ассоциации, кроме устава товарищества, определенного в нашем уложении. Чтобы не изменить ни данным науки, ни народным стремлениям, скажем в заключение, что ассоциации, формулу которой искали современные нововводители (как будто в законе о ней ничего не сказано) и которой никто из них не мог определить; которую артист, мистик и пророк Фурье назвал Гармонией, сказав, что ей должен предшествовать период Гарантизма; которая должна охватить все общество и тем не менее сохранить неприкосновенными все права личной и корпоративной свободы; которая вследствие этого не может быть ни общиной или всеобъемлющим обществом имуществ и барышей, признанным сводом гражданских законов, осуществленным в средние века, обобщенным сектою Моравских Братьев, отождествленным с политическим союзом или государством в учениях Платона, Кампанеллы, Мора, Овена, Кабе, и т. д.; ни торговыми товариществами на вере и анонимными, на паях; к которой рабочая демократия не перестает взывать, как к спасению от всякого рабства и к высшей форме цивилизации; – что эта ассоциация есть ничто иное, как ВЗАИМНОСТЬ и не может быть ничем иным. И действительно, что же такое взаимность, которую мы старались обрисовать в кратких чертах, как не общественный договор по преимуществу, договор политический и в то же время экономический, обоюдосторонний, обнимающий за раз личность и семейство, корпорацию и город, продажу и покупку, кредит, страхование, труд, образование и собственность, всякое ремесло, всякую сделку, всякую службу, всякое обеспечение, и выражающий все это самым простым образом? По своему высокому преобразующему значению он клонится к уничтожению эгоизма, тунеядства, произвола, ажиотажа, всякой распущенности. Но ведь в этом и заключается та таинственная ассоциация, о которой мечтали утописты, которая была неизвестна философам и юрисконсультам и которую мы определим двумя словами: договор взаимности.[15]

Бросим последний взгляд на этот новый договор в том виде, как он представляется в наше время в несовершенных, но полных надежд попытках рабочей демократии, и обратим внимание на самые характеристичные черты его. В начале ассоциация, основанная на взаимности, кажется как будто ограниченной в числе членов и в сроке действия, специальной по предмету, изменяемой в своем уставе. Но она способна развиваться с такою неудержимою силою, что стремится подчинить себе и присоединить к себе все, что ее окружает, пересоздать по своему образцу все общество и государство. Эту способность к развитию ассоциация, основанная на взаимности, обязана высокою нравственности и экономической плодотворности своего принципа.

Заметьте, что в силу свойственного ей принципа, ассоциация открыта всякому, кто, узнав её дух и цель, пожелал бы вступить в нее: она никого не отвергает, и чем больше растет, тем становится выгоднее. Стало быть, в отношении к личному составу своему она неограничена по самой своей сущности, чего не бывает во всякой другой ассоциации.

Тоже самое можно сказать и об её предмете. Общество, основанное на взаимности, может иметь специальной целью какое-нибудь промышленное предприятие. Но в силу принципа взаимности, оно стремится завлечь в свою систему обеспечений сперва те промышленности, с которыми стоит в непосредственной связи, а потом те, которые относятся к ней дальше. И в этом отношении ассоциация, основанная на взаимности, неограниченна; её поглощающая сила бесконечно могущественна.

Говорить ли о её прочности? Может случиться, что члены ассоциации, основанной на взаимности, потерпев какую-нибудь частную, случайную, личную неудачу, будут принуждены расторгнуть свои условия. Но при всем том, так как их общество было основано прежде всего на идее права с целью экономического приложения этой идеи, то по сущности своей оно стремится к непрерывному существованию, точно так же, как мы видели, оно стремится стать всеобщим. Когда рабочие массы приобретут ясное понятие о принципе, который волнует их в настоящую минуту, когда сознание их проникнется этим принципом, когда они громогласно провозгласят его, – тогда всякое изменение в установленном ими порядке вещей делается невозможным: иначе было бы противоречие. Взаимность или общество, основанное на взаимности, есть справедливость; а в справедливости, как и в религии отступить назад невозможно. После того как евангельская проповедь обратила мир в монотеизм, разве люди могли снова вернуться к многобожию? Разве Франция могла бы вернуться к феодальному порядку в то время, когда Россия уничтожает у себя рабство? Так и новая реформа: по своей сущности договор взаимности неотменим во всякой ассоциации. Чисто материальные и внешние причины могут расторгнуть такого рода общества в их специальности; но сами по себе и по своему основному устройству они стремятся создать новый порядок вещей и не подвержены прекращению. Заключив между собою союз, основанный на добросовестности и чести, люди не могут сказать друг другу, расставаясь: «Мы ошиблись; теперь мы снова сделаемся лгунами и плутами; это будет выгоднее!...»

Вот, наконец, последняя характеристичная черта: взнос капитала перестает быть необходимым в обществе, основанном на взаимности; чтобы быть членом общества, достаточно сохранять в сделках взаимную честность.

Говоря вкратце, по определению существующего законодательства, общество есть договор, заключенный между известным числом лиц, обозначенных по именам, ремеслам и званию (Свод гражданских законов, ст. 1832) и имеющий целью частную выгоду, которая должна быть разделена между членами общества. (Там же.) Каждый член должен внести или деньги, или имущество, или свою промышленность (ст. 1833). Общество составлено на определенное время (ст. 1965).

Ассоциация, основанная на взаимности, проникнута совершенно другим духом. Будучи взаимною, она допускает всех и стремится к всеобщности; составляется не прямо с расчетом на выгоду, а в виду обеспечения; взнос денег, других ценностей или собственной промышленности считается необязательным; единственное необходимое условие составляет верность взаимному обязательству; составившись раз, эта ассоциация по сущности своей стремится к обобщению и к безконечности.

Рассматриваемая как революционное орудие и как правительственная форма, коммунистическая ассоциация тоже хочет стремиться быть нерасторжимой и всеобъемлющей; но она не признает за членами никакой собственности, – ни денег, ни других имуществ, ни их труда, ни их таланта, ни их свободы: это-то и делает ее невозможной.

Когда закон взаимности преобразует поколения, тогда, как теперь, будут беспрепятственно составляться частные ассоциации, имеющие каждая своим предметом разработку промышленной специальности или какое-нибудь предприятие, в видах собственной выгоды. Но эти ассоциации, которые могут даже сохранить свои теперешние определения, будут подчинены, и друг перед другом, и перед публикой, долгу взаимности, будут проникнуты новым духом, и тогда между ними и временными, соответствующими им ассоциациями не будет ничего общего. Они утратят отличающий их эгоистичный и разрушительный характер, но в тоже время сохранят все выгоды, которые им дает их экономическое могущество. Это будут своего рода частные церкви в недрах вселенской, и они будут способны воспроизвести вселенскую церковь, если бы она пала.

Я очень желал бы представить здесь взаимную и федеративную теорию собственности, которую я разбирал 20 лет тому назад. Но обширность предмета заставляет меня отложить до другого времени обсуждение этого важного вопроса.

В третьей части этого тома я буду говорить о свободном обмене, о свободе союзов и о некоторых других вопросах политической экономии, которые могут быть разрешены только принципом взаимности.

ГЛАВА XIV. О взаимности в правительстве. О тождестве политического и экономического принципов. Как решает рабочая демократия задачу сочетания свободы с порядком

Теперь нам понятно, что экономическое право, о котором я не раз говорил в своих прежних сочинениях, или, другими словами, справедливость в политической экономии состоит во взаимности. Вне учреждений, свободно основанных по принципу взаимности на разуме и опыте, экономические отношения представляют путаницу противоречий, вызванных случайностью, обманом, насилием и кражею.

Из экономического права само собою вытекает общественное право. Правительство есть система обеспечений; тот же принцип взаимной гарантии, обеспечивающий каждому образование, работу, беспрепятственное развитие своих способностей, занятие своим ремеслом, пользование своей собственностью, обмен продуктов и услуг, – точно также обеспечит всем порядок, справедливость, мир, равенство, умеренность власти, добросовестность должностных лиц, общую взаимную преданность.

Подобно тому, как сама природа разделила землю на разные поясы и части, которые в свою очередь раздробились на участки между общинами и семействами, точно так же работы и производства распределились по закону органического разделения и в свою очередь

составили определенные группы и корпорации.

Таким же образом, явится, при новом договоре, правильное распределение политического самоуправления, гражданских учреждений и корпоративных отношений в областях, округах, общинах и других частях. Благодаря этому распределению, повсюду станет царствовать настоящая свобода.

Уничтожается старый закон единства и поглощения. И вот, с той минуты, когда различные части государственного организма начинают действовать в силу нового договора и взаимного соглашения, – везде появляются свои политические центры действия. Каждая группа или этнографическая разновидность, каждое племя, говорящее своим языком, сохраняет независимость развития; каждый город, обеспеченный в своем самоуправлении, живет по-своему, совершенно самостоятельно. По праву, единство удерживается и выражается путем взаимного обещания, которое дают друг другу все независимые политические группы, а именно: 1) заключать договоры с соседями, на известных принципах; 2) защищаться сообща против внешнего врага и домашнего деспотизма; 3) входить в необходимые соглашения касательно экономических интересов и помогать друг другу в случаях повальных бедствий. Для надзора же за исполнением общего договора и в видах общего благосостояния, составлять народный совет из выборных от каждой политической группы.

Итак, то самое, что на экономическом языке называется нами «взаимностью или взаимным обеспечением», в политическом смысле выражается словом – федерация. Этими двумя словами определяется вся реформа наша в политике и общественной экономии.

Я не стану более распространяться о выводах учения взаимности, о тех самых выводах, которые так ясно изложены в Манифесте Шестидесяти по поводу корпоративной реформы, применения всеобщей подачи голосов и провинциальных и городских прав. Довольно того, что, в силу логики и на основании фактов, я утверждаю зависимость политики от экономии, которые в рабочей демократии должны обе следовать одному и тому же методу и подчиняться одним и тем же принципам. Отсюда прямо следует, что в будущем и единая республика, и конституционная монархия, также мало соблазнят народ, как и торговая анархия или икарыйская община.

Бесспорно, что подобное воззрение еще не успело в настоящую минуту стать общим: только немногие избранные мыслители признают его верным. При всем том, основание заложено, семя брошено, и оно разовьется непременно силою народной логики и естественным течением событий. *Dabit Deus incrementum*. С глубоким убеждением можем мы сказать теперь: хаос социализма 1848 года рассеялся; что обещает он в будущем – разгадать не берусь, но вижу и знаю только то, что зародыш социализма развился и созрел вполне. Клевета и невежество не уничтожат его, потому что он должен жить, и задача его жизни решена. Отныне революция демократическая и социальная не шутя обращается в систему обеспечения, которая не замедлит восторжествовать.

Идея взаимности, вне которой, как мы убеждаемся со дня на день, нет для народа спасения, нет для него возможного облегчения, эта самая идея при своем появлении в свет вызвала,

однако, некоторые упреки. Против неё восстали с двух сторон такие партии, которые, несмотря на внешнее несходство воззрения и характера, в сущности совершенно одинаковы: я разумею старую демократию и буржуазию. С одной стороны, старые демократы стали опасаться, что учение взаимности уничтожит национальное единство, то есть ту силу общественной связи, которая придает народу значение и славу. С другой стороны, буржуазия заявила подобное же недоверие: она увидела в системе взаимности стремление к анархии и, во имя самой свободы, стала протестовать против зверства личного права и непомерного притязания личности вообще!!

Поводом к такому протесту послужило отчасти то обстоятельство, что в среде более здравомыслящих, чем благоразумных писателей нашлись люди, которые в последнее время особенно сильно нападали на центральную власть за её стремление захватить все в свои руки. Надо знать, что во Франции, в течение уже двенадцати лет, господствует общее отвращение ко всякому движению, и потому, в конце концов, после всевозможных споров, раздоров и противоречий, большинство отстаивает так называемый «порядок» и восстает против свободы.

И так, волей-неволей, рабочая демократия должна показать, каким образом, следуя своему принципу взаимности, думает она осуществить девиз буржуазии 1830-го года – «Свобода – Общественный Порядок» или то самое, что республиканская демократия 1848 года охотнее выражала словами: «Единство и Свобода».

Здесь представляется нам удобный случай видеть все величие значения и характера той верховной идеи, в силу которой торжественно заявляется политическая способность рабочих классов.

Обратим сперва внимание на то, что ум человеческий не в состоянии отрешиться от идеи единства. Эту идею он утверждает во всем: в религии, в науке, в праве; он желает, разумеется, ввести ее и в политику, и даже в философию и свободу, не взирая на логическую невозможность. Единство – закон всего живущего и организованного, закон всего, что чувствует, любит, наслаждается, создает, борется, работает и, путем борьбы и труда, ищет порядка и благополучия. Отрицание единства казалось всегда принципом дьявольского царства, анархией, разложением, то есть смертью. Только в видах единства строятся города, издаются законы, появляются государства, освящаются династии и, только во имя единства, народы повинуются своим владыкам, парламентам, первосвященникам. Только из страха разложения, как неизбежного последствия смут и раздоров, всюду полицейская власть преследует своим подозрением и гневом философские исследования и «дерзкую» критику, и «нечестивое» отрицание и «богоубийственную» ересь; только для сохранения этого драгоценного единства и сносят иногда народы самую возмутительную тиранию.

Постараемся же понять, наконец, что такое единство в настоящем своем смысле.

Заметим сперва, что как нет Свободы без Единства или, все равно, без Порядка, точно так же нет и единства без разнообразия, без разделения, без разносторонности; нет Порядка без протеста, без противоречия и борьбы. Свобода и Единство или Порядок, эти идеи точно

так же предполагают одна другую, как кредит залог, как материя дух, как тело душу; их нельзя ни отделять, ни совмещать; волей неволею приходится жить с ними и возможно только уравновесить их.

И так, вопрос заключается вовсе не в том, как утверждают бессильные софисты: выйдет ли Свобода из Порядка или Порядок из Свободы; можем ли мы считать Свободу причиной Порядка или последним словом прогрессивного развития? Все это вздор, потому что Порядок и Свобода, для своего заявления, вовсе не требуют постороннего содействия или позволения: они существуют вечно, во взаимной неразрывной связи. Вот почему вся задача состоит в том, чтобы определить их соотношение и отличительный характер.

До сих пор, в каждом политическом обществе, Порядок и Свобода были выражениями неточными, случайными, чтобы не сказать произвольными. Человечество, в своем самобытном развитии и самоосвобождении, жило рядом гипотез, которые были для него, в одно и тоже время, опытом и переходом из одного состояния в другое. Может быть мы не дошли еще до конца и не исчерпали всех этих гипотез; во всяком случае, для нас утешительно то, что в настоящее время мы знаем, что 1) общество стремится одновременно к Свободе и Порядку, и 2) можно определить и ускорить это стремление.

Отчего, в самом деле, столько правительственных форм, столько государств так сказать уничтожались сами собой, одни за другими?

Отчего общественная совесть осудила их безвозвратно и, в настоящую пору, не найдется в цивилизованной Европе ни одного человека, который захотел бы клясться во имя какой-нибудь конституции? Отчего даже конституционная монархия, дело трех последовательных поколений, та самая монархия, которую так любили наши отцы, противна уже современным людям и представляет повсюду в Европе картину своего явного упадка? Все это происходит оттого, что ни одна политическая форма не дала еще до сих пор настоящего решения задачи согласования Свободы и Порядка, того согласования, какого требуют все разумные люди. Это происходит оттого, что единство, как понимают его самые крайние либералы и отчаянные абсолютисты, остается еще единством выдуманное, искусственным, делом принуждения, насилия, короче – чистым материализмом, который противен совести и недоступен разуму. Подобное единство ничто иное, как догмат, выдумка, знамя, символ секты, партии, церкви или племени; говоря другими словами – догмат веры или государственной необходимости.

Поясним нашу мысль несколькими примерами. Франция представляет нам громадный образ единства: начиная с Гуго Капета, мы можем по годам показать время присоединения каждой провинции и образования государственного единства. В 1860 году Савойя и Ницца, в свою очередь, присоединились к Франции: что может доказать это в пользу её единства? Какая ей выгода от увеличения территории и завоеваний? Неужели политическое единство только один вопрос о пространстве и границах государства? Если бы это было так, то задача единства могла бы разрешиться только во всемирной монархии, и никто не верил бы тогда в судьбу Франции, Англии, и никакое государство не имело бы смысла.

Из области материализма перейдем в область спиритуализма. Всеобщая подача голосов, как она выразилась законом 1852 года, конечно представляет собой идею единства; тоже самое можно сказать и об избирательных порядках 1830, 1806, 1793 годов и т. д. Что же, спрашивается, доказывают все эти формулы? В которой из них найден настоящий порядок и выражено истинное политическое единство? Или, еще лучше, в которой из них нашли мы больше смысла и совести? Какая из них не изменила Праву, Свободе, Разуму?!

Мы уже заметили, что политическое единство не может быть вопросом о территориальном протяжении и границах; это самое единство тем более не может быть вопросом желания или подачей голоса. Я иду дальше и говорю: не уважай никто рабочей демократии, которая кажется решительно стоит за свои избирательные права, и не надейся никто на её будущность, что случилось бы тогда с самой идеей всеобщей подачи голосов? Кто бы верил в нее? Спрашиваю я.

Нет, для нового поколения нужно такое единство, в котором выражалась бы общественная душа, т. е. единство душевное и разумный порядок, связующий нас всеми силами совести и ума и, вместе с тем, дающий нам свободу мысли, воли и сердца. Да, новому поколению нужно единство, которое не возбуждало бы с его стороны никакого протеста, никакой ненависти и презрения, так, чтобы это единство было выражением самой Правды. Мало того: нам нужно не только такое единство, которое только обеспечивало бы нашу свободу, но вместе с тем развивало и укрепляло бы эту свободу, чтобы она стала вполне синонимом порядка, совершенным выражением метафизической формулы – Свобода значит Порядок.

Но возможно ли, наконец, чтобы политическое единство удовлетворило подобным условиям? – Без сомнения, если только оно будет основано на праве и правде, которые исключают всякую возможность рабства.

Приведем в пример систему весов и мер.

Неужели наша метрическая система, входя во всеобщее употребление и заставляя всех производителей и купцов прибегать к одному и тому же легкому способу оценки и счета, могла быть невыгодной и произвести какое либо замешательство? Напротив того: все народы, благодаря введению единства мер и весов, упростили бы свои экономические сношения и избавились бы от множества неудобств. Неужели следует полагать, что подобная реформа измерения и счетоводства не вводится повсюду, потому что противна интересам и свободе? Вовсе нет: введению этой разумной реформы противятся местные предрассудки, ложное самолюбие народов, взаимная ненависть государств, короче рабство и трусость мысли. Пусть исчезнут все нелепые предрассудки и обычаи, пусть массы перестанут поклоняться рутине, пусть власти откажутся исключать все, что создается не ими, не по их злостной прихоти, и завтра же метрическая система войдет во всеобщее употребление на всем земном шаре. Русский календарь отстает на 12 дней от астрономического: почему же Россия до сих пор не вводит у себя григорианского счисления времени? Очень просто: если бы правительство решилось на подобную реформу при настоящем состоянии народного развития, то изуверы сочли бы его вероотступником.

Итак понятно, что единство мер и весов могло бы осуществиться, несмотря на все разнообразие слов, знаков и штемпелей; такое единство было бы важным шагом на пути развития и свободы. Тоже самое можно сказать о единстве наук: это единство может существовать и даже существует на деле, не взирая на все разнообразие языков, методов и школ; опять новый шаг на пути всеобщего развития, опять новое и могущественное выражение свободы. Тоже самое, наконец, можно сказать и о единстве нравственности, которое признает человеческий разум, несмотря на все разнообразие вероисповеданий, обрядов, церковных учреждений, и в котором каждый добросовестный человек видит теперь единственный залог чести и свободы.

Такова должна быть общественная связь, таков должен быть принцип всякого политического порядка, одним словом, таково должно быть Единство, к которому стремятся все люди, как существа разумные, свободные и желающие царства свободы. Это самое единство, исключая все старые формы своего выражения, делается со дня на день незримым, неосязаемым, как воздух, в котором свобода, как птица, живет и поддерживается.

Каким же образом осуществить это желанное единство?

Приложение принципа взаимности обещает нам единство, обеспеченное от всякого стеснения, свободное от всякой исключительности, подлога и нетерпимости, обещает порядок до такой степени удобный, что без него немыслима свобода.

В самом деле, что такое взаимность? Формула справедливости, которая до сих пор пренебрегалась или тщательно скрывалась различными законодательными мерами, формула, по которой все члены общества, какого бы ни были они звания и состояния, будь то сословия или личности, общины или семейства, все равно чем бы они ни занимались: промыслами, земледелием или общественной службой – все они обещают и обеспечивают друг друга услугу за услугу, кредит за кредит, залог за залог, доверие за доверие, ценность за ценность, истину за истину, свободу за свободу...

Вот та радикальная формула, которую демократия хочет преобразовать теперь право во всех его отраслях или категориях: право гражданское, право торговое, право международное; вот основание экономического права Демократии.

При подобной взаимности, мы будем связаны самыми прочными и необременительными узами. Мы будем иметь порядок самый совершенный и удобный, какой только может связывать людей. Мы будем пользоваться всеми благами свободы, какие только для нас доступны. Правда, участие власти в этой системе будет постепенно все уменьшаться; но что за беда, если власти нечего будет делать? Я признаю далее, что и благотворительность окажется в этом строе бесполезной добродетелью; но разве мы не будем застрахованы от эгоизма? Как вы обвините в недостатке какой бы то ни было добродетели, частной или общественной, таких людей, которые, не давая ничего даром, обеспечивают и дают друг другу все: образование, труд, торговлю, наследство, богатство, безопасность?

Это не то Братство, скажут может быть, о котором мы мечтали, не то братство, которое предвидели древние реформаторы, возвещал Христос, обещала революция. Какая сухость! Какое мещанство! Это идеал торгашей и маклеров; он не удовлетворил бы даже наших старых буржуа.

В первый раз это возражение было сделано мне уже давно. Но оно убедило меня только в том, что для большинства наших революционеров требование реформы служит только предлогом агитации; но они в нее не верят и не заботятся о ней. Они отступили бы, если им доказали бы возможность реформы и пригласили их привести ее в исполнение.

Вы, поклонники идеала, вы, считающие чем-то низким и мещанским простую пользу, оставляющие домашние заботы на долю других, – вы думаете, что избрали, подобно Марии, благую часть; ошибаетесь, жестоко ошибаетесь: позаботьтесь прежде всего о хозяйстве, Oeconomia, а идеал придет сам собой.

Как! Из того, что люди взаимности будут иметь каждый свой угол; из того, что прекратится безпутная трата сил и повальная проституция, и всякий, с редкой в наше время уверенностью, в состоянии будет указать на свою жену и своих детей; из того, что с воцарением этих утилитарных начал жилище человека делается чище и прекраснее Божьего храма; из того, что государственная служба, приведенная к своему простейшему выражению, перестанет быть предметом честолюбия, точно так же, как не будет и самопожертвованием: из всего этого вы составляете обвинительный акт против наших граждан и обличаете их в грубости и эгоизме! Вы утверждаете, что в этом обществе нет ничего высокого, ничего братского!.. Да, мы давно знаем чего вам нужно, и вот вы окончательно сбрасываете маску. Вашей общине, которую вы величаете рабочей и демократической, нужна власть, старшинство, разврат, аристократия, шарлатанство, рабство, подчинение человека человеку, рабочего художнику, и, в заключение всего, свободная любовь. Позор!..[16]

ГЛАВА XV. Возражение против политики взаимности. Ответ. Первая причина упадка государств. Отношение политических учреждений к экономическим в новой Демократии

Не станем отвлекаться от вопроса. Нам предстоит объяснить что такое единство и порядок в демократии, проповедующей взаимность.

Вот замечание, которое без сомнения сделают противники наши: «Оставим теории и сентиментальности, скажут они нам: во всяком государстве необходима власть, дух дисциплины и повиновения, без которых немисливо существование общества. В государстве должна быть сила, способная побороть все сопротивления и подчинить все мнения общей воле. Толкуйте сколько хотите о сущности, происхождении и формах этой силы, – вопрос не в том. В действительности все дело заключается только в том, что власть должна иметь в руках силу. Никакая человеческая воля не должна управлять другой человеческой волей, говорит де-Бональд, и он приходит к заключению о необходимости высшего учреждения, права божественного. Ж.-Ж. Руссо думает напротив, что общественная власть есть нечто собирательное, слагающееся из тех частиц свободы и имущества граждан, от которых последние отказываются в видах общего блага, – это демократическое революционное право. Выбирайте любую систему, и вы все таки неизбежно придете к заключению, что душу политического общества составляет власть,

освящаемая силой.

«Таким образом возникали во все времена государства; таким же образом они и управляются, и живут. Неужели массы по своей воле так тесно соединялись между собой и образовали, под рукой вождя, те могучие политические тела, к которым так мало прибавляет работа революций? Нет, эти тела появляются и разрастаются вследствие необходимости, на помощь которой является сила. Неужели опять массы по своей же воле, вследствие какого-то таинственного и необъяснимого убеждения, позволяют вести себя, как стадо, и покоряются чужой мысли, которая парит над ними и остается загадкой для каждого? Нет, опять таки нет, – эта способность централизации, которой поддается даже нехотя весь мир, есть также результат необходимости, на стороне которой стоит сила. Нелепо восставать против этих великих законов, как будто возможно, в самом деле, изменить их и создать себе новую жизнь, на новых началах.

Чего же хочет теория взаимности, и какие выводы даст это учение с точки зрения правительства? Теория эта хочет основать такой порядок вещей, в котором возможно было бы самое широкое приложение принципа верховной власти народа, человека и гражданина, порядок, в котором каждый член общества, сохраняя свою независимость и полную свободу действий, управлялся бы сам собой, между тем как высшая власть занималась бы единственно только общими делами; следовательно такой порядок, в котором были бы общие цели, а не было бы централизации. При таком строе, каждая из частей общества, признанная самодержавною, имеет право, по своему усмотрению, выйти из союза и нарушить договор *ad libitum*. До подобного вывода неизбежно должна прийти федерация, если она только останется верна своему принципу. Вот логическое следствие федеративного принципа, следствие неизбежное, которое федерация должна признать или обратиться в иллюзию, вздор и ложь.

Очевидно, что такая правоспособность отложения т. е. сепаратизм, который в принципе принадлежит каждому из союзных государств, заключает в себе противоречие; сепаратизм никогда не осуществлялся и на практике постоянно отрицается всеми федерациями. Известно, что Древнюю Грецию едва не погубила её федеральная свобода. Только одни афиняне и спартанцы дали отпор персидскому царю, – остальные отказались идти. Персы побеждены, и в Греции вспыхивает междоусобие, уничтожающее эту нелепую конституцию. Вся слава и выгода достается на долю Македонии. В 1846 г., когда Швейцарскому союзу предстояло распаться вследствие отделения католических кантонов (*Sunderbund*), большинство не задумалось образумить отложившихся силою оружия. Оно действовало при этом, несмотря на все свои уверения, вовсе не во имя федерального права, которое было положительно против него. Каким же образом тринадцать самодержавных протестантских кантонов могли бы доказать одиннадцати таким же самодержавным католическим кантонам свое право принудить их, в силу договора, к союзу, которого те не хотели? Понятие федерации не совместимо с подобными требованиями. Гельветическое большинство действовало в силу права национального самосохранения. Оно видело, что Швейцария, по своему положению между двумя великими державами, не могла, без крайней для себя опасности, допустить образования нового, более или менее враждебного союза; и уступая необходимости, поддерживая свое право доводами силы, оно провозглашает начало единства во имя будто бы федерации. В настоящую минуту, когда я пишу, северные штаты

Америки хотят точно также силою удержать в союзе южные штаты и обзывают их изменниками и бунтовщиками, как будто союз есть ни более ни менее как монархия, а Линкольн - император; и здесь не приложимо даже то оправдание, какого могут для себя требовать швейцарские либералы 1846 г., потому что американской свободе ничто не угрожает.

Очевидно однако, что одно из двух: или слово федерация заключает в себе смысл, которым основатели союза хотели резко отличить его от всякой другой политической системы, - в таком случае, оставив невольничий вопрос в стороне, мы должны признать несправедливость войны, объявленной Севером Югу; или под видом федерации скрывались стремление к образованию великой империи, стремление, которое ждало только благоприятной минуты для своего обнаружения, - в таком случае американцам придется со временем вычеркнуть из своего лексикона слова - политическая свобода, республика, демократия, федерация и даже союз. По ту сторону Атлантического океана уже не признают международного права, т. е. федеративного принципа: это нисколько не двусмысленное знамение предстоящего преобразования союза. Всего страннее в этом деле поведение европейской демократии, которая сочувственно относится к тому, что делается в Америке, и таким образом отрекается от своего собственного принципа и от своих надежд.

Из всего этого следует, что социальная революция в смысле взаимности - чистая химера, так как в таком обществе политический порядок, чтобы соответствовать экономическому, должен представлять федеративное государство, а такое государство само по себе совершенно невозможно. В действительности, федерация всегда представляла собою переходное явление государства, едва начинающего слагаться; в теории, это бессмыслица. Поэтому, указывая на федерализм, как на свой последний вывод, взаимность сама себя исключает; она ничто".

Прежде чем опровергнуть это рассуждение, необходимо восстановить историческую истину.

Противники федерализма совершенно произвольно приписывают централизации все выгоды, которые оспаривают у федерации. Они утверждают, что централизация столь же сильна и логична, сколько федерация слаба и бессмысленна, и что этим-то и объясняется различие их исторических судеб. Поэтому, чтобы рассмотреть вопрос со всех сторон, мне следовало бы, с своей стороны, разобрать принцип централизации и показать что - если федерация всегда играла второстепенную роль; если, благодаря нескладице их учреждений, федерации никогда не могли долго просуществовать, и если принцип их, повидимому, даже не может быть осуществлен в них, - за то сильно централизованные государства противопоставляли преграды для развития отдельных народностей.

Таким образом, мне пришлось бы показать, что вся история представляет нам только ряд соединений и разложений; что за разложениями или федерациями постоянно следовали слияния, а за слияниями - распадения; что за греческой империей Александра, охватившей собой Европу и Азию, скоро последовало разделение её между его полководцами: оно было истинным восстановлением национальностей, в том смысле, как мы понимаем его теперь. После этого национального движения наступило римское единство, которое в V веке сменилось германскими и итальянскими федерациями. Еще недавно, австрийская империя

превратилась из абсолютной в федеративную, между тем как Италия перешла от федерации к единству. Первая империя со своими 132 департаментами, со своими великими вассалами и союзами, не могла устоять против европейской федерации; точно также и вторую империю, еще более централизованную, хотя менее обширную, подтачивает дух свободы, который выражается провинциями и общинами даже резче, чем отдельными личностями.

Вот, что я хотел бы развить подробнее; но пока достаточно напомнить об этом. И так, вот следовательно, задача, которую нам предстоит разрешить; она так же важна для централизации, как и для федерации.

1. Отчего все централизованные государства, монархические, аристократические или республиканские, всегда кончают разложением?
2. Отчего, в тоже время, федерации всегда стремятся к единству?

Необходимо ответить на эти вопросы прежде, чем произнести суждение о сравнительных достоинствах государств централизованных и федеративных. Я отвечаю на них, согласно началам, изложенным в предыдущей главе, что только Истина и Право могут служить основаниями порядка и что вне их централизация неизбежно становится деспотизмом, а федерация ложью.

Причина разложения и разрушения всех государств, как централизованных, так и федеративных, состоит в том, что в первых общество лишено всякого обеспечения, и политического, и экономического; во вторых же, предполагая даже, что власть организована самым лучшим образом, общество до сих пор имело только политические обеспечения и никогда не заботилось об экономических. Ни в Швейцарии, ни в Соединенных Штатах, мы не встречаем организованной взаимности; а без неё, без экономического права, политические формы бессильны, непрочны; они гробы крашенные, по выражению Евангелия.

Что же сделать, чтобы оградить федерацию от разложения, не нарушая в тоже время их принцип, состоящий в признании за каждым городом, местностью, провинцией, населением, словом, за каждым государством, права добровольно вступить в федерацию и выходить из неё?

Заметьте, что подобного условия еще ни разу не предлагали свободным людям; ни один писатель не говорил еще об этом. Де Бональд и Жан Жак, поклонник божественного права и демагог, утверждают единодушно, по слову Евангелия, что царство, в самом себе разделившееся, погибнет. Но в Евангелии это имеет смысл отвлеченный, тогда как наши писатели чистые материалисты, поклонники власти и, следовательно, рабства.

Чтобы навсегда упрочить федерацию, необходимо, наконец, дать ей санкцию, которой она лишена доселе; надо провозгласить экономическое право основанием федеративного права и всякого политического порядка.

Здесь будет особенно уместно рассмотреть переворот, который совершится во всем общественном строе силою одной взаимности.

Примеры, приведенные выше, уже указывали на то, что принцип взаимности, будучи перенесен из частных отношений в общественные, создает ряд учреждений, развитие которых легко обозначить. Для памяти, укажем на более крупные.

А. Экономические учреждения

1. Благотворительные и вспомогательные учреждения, представляющие переход от господства начал милосердия к началам справедливости, заявленным Революцией: общества вспоможения, медицинских пособий, богадельни, воспитательные дома, больницы, магдалининские приюты и проч. – Все это, конечно, более или менее уже существует, но лишено того нового духа, который один может доставить им значение и истребить в них тунеядство, обман, нищенство и расхищение.
2. Страхование от наводнений, пожаров, кораблекрушений, от случайностей на железных дорогах, от скотских падежей, града, болезней и смерти.
3. Кредит, обращение и учет; банки, биржи и проч.
4. Общественные учреждения для перевозки по железным дорогам, каналам, рекам и морям. – Эти учреждения не наносят частным предприятиям никакого ущерба, а напротив того – поддерживают и регулируют их.
5. Учреждение складов, доков и рынков. Цель его – обеспечить навсегда возможно лучшее распределение продуктов, в видах взаимных выгод производителей и потребителей. Это – смерть торгашеской спекуляции, наживанию, стачкам и ажиотажу.
6. Учреждение статистических бюро, контор для объявлений, для точной и верной оценки товаров. Общественные учреждения для регулирования мелочной торговли.
7. Общества рабочих для земляных работ, разведения лесов, осушения почвы, проведения дорог, шоссе, водяных сообщений.
8. Общества рабочих для сооружения мостов, водопроводов, резервуаров, портов, туннелей, публичных зданий и проч.
9. Общества рабочих для разработки рудников и добывания сырых продуктов.
10. Общества рабочих для служения при портах, вокзалах, рынках, складах, магазинах и проч.
11. Общества каменщиков для постройки, ремонта, найма домов, в видах дешевизны городских квартир.
12. Народное просвещение, научное и ремесленное.
13. Собственность: пересмотр законов касательно права, происхождения, распределения, способа передачи разных имуществ. Преобразование и утверждение аллодиальной системы.
14. Налог....

Примечание

1. До сих пор учреждения, которым мы дали название «экономических», существовали в обществе только на словах. – Мы не выдумываем их, не создаем произвольно, а только разъясняем их, на основании принципа, очень простого, но решительного.

Дознано, что в большинстве случаев индивидуальная инициатива не может создать того, что создает без всякого усилия и с меньшими издержками сотрудничество всех. Поэтому там, где частная деятельность недостаточна, совершенно справедливо и даже обязательно обращаться к собирательной силе, ко взаимности. Глупо жертвовать для бессильной свободы общественным богатством и счастьем. В этом и состоят принцип, цель и основание экономических учреждений. И так, за личностью остается все, что она в состоянии выполнить, не нарушая закона справедливости; а все, что превышает способность одной личности, становится делом общественным.

2. К разряду экономических учреждений я отношу богоугодные и учебные заведения и налог. Такая классификация основана на самой сущности вещей. Искоренение нищеты и облегчение человеческих страданий всегда считались самыми трудными задачами науки. Как нищета рабочего, так и все социальные бедствия находятся в прямой зависимости от источников производства и нарушают непосредственно общественное благосостояние. Поэтому наука и прямая польза побуждают нас вывести эти учреждения из-под влияния и действия власти. Так точно и налог. В этом отношении революция 89 года и принципы всех вышедших из неё конституций совершенно верно говорят, что налог, требуемый правительством, должен взиматься не иначе, как с согласия народа и распределяться общими и местными собраниями. Государь не сам себе платит, а страна платит своему поверенному. А из этого следует, что учреждение, которое зовется министерством финансов, отнюдь не составляет принадлежности власти. Что же касается народного образования, представляющего собою лишь дальнейшую степень развития домашнего воспитания, то его необходимо точно также причислить к экономическим учреждениям, а иначе его придется снова признавать религиозным учреждением и отрицать семью.
3. Параграфы 4, 7, 8, 9, 10 и 11 нашей таблицы показывают, какое значение имеют в новой демократии рабочие ассоциации, рассматриваемые как экономические силы и учреждения взаимности. Цель их – удовлетворить не только интересам рабочих, но и вполне законному желанию общества спасти железные дороги и рудники от монополии акционерных обществ, – общественные постройки от произвола казенных инженеров, – воды и леса от правительственного расхищения и т. д. Эти рабочие товарищества должны быть организованы по правилам гражданского и коммерческого уставов, подчинены закону конкуренции и, неся ответственность за свои поступки, обязаны, по долгу взаимности, предлагать обществу свои услуги по возможно дешевой цене.

К этим экономическим учреждениям примыкает еще, в виде дополнения, ряд учреждений, называемых политическими. Хотя и они могут также изменяться в известных пределах, но никто не ошибется на счет их значения.

В. Политические учреждения

15. Избирательное собрание или всеобщая подача голосов.
16. Власть законодательная.
17. Власть исполнительная: Администрация,

18.»» Полиция, Юстиция,

19.»» Духовные дела,

20.»» Военные дела.

Министерства: земледелия, торговли, народного просвещения, публичных работ и финансов были помянуты и рассмотрены в отделе экономических учреждений.

Примечания

1. Эти учреждения называются политическими в отличие от предыдущих, т. е. экономических, потому что имеют предметом уже не людей и имущества, не производство, потребление, воспитание, не труд, кредит и собственность, но государство в целом, весь социальный организм и его отношения, как внешние, так и внутренние.
2. Эти учреждения подчинены первым, и их можно назвать второстепенными учреждениями, потому что, несмотря на свое кажущееся величие, играют гораздо менее важную роль, чем учреждения экономические. Прежде чем писать законы, управлять, строить дворцы, храмы, воевать, общество работает, возделывает землю, строит корабли, обменивается, обрабатывает землю. Прежде чем возводить на троны королей и устанавливать династии, народ освящает семейную жизнь, упрочивает браки, строит города, заводит собственность и наследство. По принципу политические учреждения остаются в нераздельном виде с экономическими. В самом деле: ни одна из отраслей управления и государства не чужда общественной экономии. Теперь, когда мы восстановили социальную генеалогию во всей её полноте и всякой вещи указали её место, нас не должно смущать то влияние исторической иллюзии, вследствие которого общественный разум, выясняя себе правительственный организм, как будто придает ему первенствующее значение. Между учреждениями экономическими и политическими существует такая же зависимость, на какую физиология указывает в животных между отправлениями жизни органической и половыми отношениями. Помощью последних животное заявляет свое существование и вступает в связь с прочими тварями; но первыми оно живет, и все, что оно свободно делает, в сущности ничто иное, как более или менее разумное заявление его основных жизненных сил.
3. В демократическом обществе политический порядок и порядок экономический должны сливаться воедино, составлять одну систему, основываться на общем принципе – принципе взаимности; таков вывод, который можно сделать из наиболее выяснившихся идей демократии и из самых очевидных её стремлений. Мы уже видели, как великие экономические учреждения зарождаются, одно за другим, рядом взаимностей и создают обширный, гуманитарный организм, о котором доселе никто и не мечтал; таким же образом и правительственная власть является здесь не какой-нибудь фикцией, придуманной ради государственных потребностей и непрочной, как всякая выдумка, а действительным договором, где договаривающиеся самодержавные личности не поглощаются центральной властью, личную и в тоже время мистическую, а дают прочное обеспечение свободе

государства, общины и лица.

Это уже не отвлеченное самодержавие народа, как в конституции 93 года и следующих, или как в «общественном договоре» Руссо: это – действительное самодержавие народных масс, которые царствуют и управляют в благотворительных собраниях, в торговых палатах, в корпорациях искусств и ремесл, в рабочих артелях, на биржах, рынках, в академиях, школах, на земледельческих сходках, наконец, в избирательных сеймах, парламентах и государственных советах, в народной страже и даже в церквях и храмах. Всегда и везде владычествует, во имя и в силу принципа взаимности, сила собирательная; это последнее признание прав человека и гражданина.

Я сказал, что здесь рабочие массы действительно и положительно владычествуют, и это несомненно ведь им принадлежит все экономическое устройство – труд, капитал, кредит, собственность, богатство. Имея в полном распоряжении своем органические силы, могут ли они оставаться чуждыми области внешних отправлений? Влияние производительной силы на правительство, власть, государство не может быть устранено и это выражается самым устройством политических учреждений:

- a. Избирательное собрание: оно собирается самопроизвольно, надзирает за всем, ревизует свои собственные действия и дает им санкцию;
- b. Законодательное собрание или государственный совет, отряжаемый избирательными собраниями из своей среды, назначается федеральными группами и может изменяться в составе[17];
- c. Исполнительная комиссия, избранная членами законодательного собрания из среды себя и, в случае надобности, подлежащая уничтожению;
- d. Наконец, председатель этой комиссии, ею самой назначаемый, и подлежащий смене.

Это, как видите, совершенная противоположность системы старого общества; здесь страна все, а тот, кого называли главою государства, здесь просто гражданин, хотя и первый по почету, но наверное безопаснейший из всех должностных лиц. Таким образом решена задача политического обеспечения. Здесь никогда не будет, ни похищения власти, ни государственного переворота; здесь невозможен бунт власти против народа, заговор правительства и буржуазии против низших классов[18].

4. Возвратимся теперь к вопросу, поставленному выше: каким образом федеративное государство может упрочить свое существование? Возможны ли прочность и цельность действий в такой системе, основная мысль которой есть право каждого члена федерации на самоотлучение?

Надо сознаться, что пока федеральные государства не основаны на экономическом праве и законе взаимности, возражение это неопровержимо: разногласие интересов неизбежно приводит к роковым раздорам и отпадениям, и дело кончается тем, что монархическое единство заменяет республиканскую неурядицу. Но при экономическом праве и взаимности все изменяется: преобразуется весь экономический порядок, развивается совершенно новый

государственный принцип – и федерация делается прочною. Демократия, столь враждебная сепаратизму, может успокоиться.

В группах, находящихся между собою в отношениях взаимности, не существует тех начал, которые обыкновенно разъединяют людей, города, корпорации и личности: здесь нет ни верховной власти, ни политической централизации, ни династического права, ни бюджета двора, ни орденов, ни пенсий, ни эксплуатации, ни догматизма, ни вражды партий, ни племенных предрассудков, ни соперничества корпораций, городов или провинций. Здесь может быть разногласие только во мнениях, в верованиях, в интересах, нравах, промышленности и т. д. Но эти разногласия и служат именно основанием и предметом системы взаимности: следовательно ни в каком случае не могут они быть источником церковной нетерпимости, папского, духовного самовластия, столичного преобладания, промышленного или земледельческого владычества. Столкновение невозможно; чтобы возбудить его надо сперва разрушить взаимность[19].

С чего быть восстанию? Откуда взять поводы к неудовольствию? в федерации, основанной на взаимности, гражданин, как в республике Руссо, пользуется полною свободой! в его руках вся политическая власть; он сам и властвует, и пользуется выгодами власти; ему оставалось бы только жаловаться на одно: что ни ему и никому другому нельзя захватить ее в свои руки и пользоваться ею безраздельно. Пожертвований достоянием также никто и ни от кого не требует: государство просит от гражданина лишь столько, сколько действительно необходимо на общественные расходы; расходы эти все существенно производительны, так что налог обращается в обмен. Обмен же умножает богатства; следовательно и с этой стороны нечего опасаться раздора. Равным образом, федерация не может распасться из страха междоусобной или внешней войны. Если она основана на экономическом праве и законе взаимности, то междоусобная война возможна в ней только по поводу религиозных несогласий. Но, во первых, когда удовлетворены все материальные интересы людей, духовные интересы едва ли могут быть достаточно сильны, чтобы побудить их к междоусобию; а во вторых, общая взаимность необходимо должна сопровождаться взаимною веротерпимостью, так что этот повод к столкновению совершенно невозможен. Что касается до внешней войны, то с какой стати может она возникнуть? Федерация признает за каждым составляющим ее государством право отпадения; тем более она не может ни к чему принуждать другие, чуждые ей государства. Принцип её вовсе несовместен с завоевательными стремлениями. Следовательно, возможна только одна причина внешней войны: враждебность принципов. Возможно, что соседние государства, основанные на широкой эксплуатации, централизации, найдут существование такой федерации несовместным с их собственными принципами, подобно тому, как в 93 году Французская революция была объявлена, в манифесте герцога Брауншвейгского, несовместною с принципами всех остальных европейских государств. Но для федерации, основанной на экономическом праве и законе взаимности, было бы величайшим счастьем, если бы весь старый мир ополчился бы против неё и объявил бы ее вне своих законов: это воодушевило бы республиканские чувства взаимности и федерации, дало бы рабочей демократии полное торжество на всей поверхности земного шара и уничтожило бы раз и навсегда царство монополии....

Стоит ли доказывать еще дальше?

Войдя в законодательства и нравы и создав экономическое право, принцип взаимности перестроит сверху до низу гражданское, торговое, государственное и международное права. Другими словами: выяснив и определив экономическое право, эту верховную и основную категорию права, принцип взаимности создаст единство юридической науки; он покажет, что право едино и тождественно, что оно везде и всегда предписывает одно и то же, что все положения его взаимно дополняют друг друга, что все законы его лишь видоизменения одного, единого закона.

Древнее право, разделенное наукой старых юристов на несколько специальных отраслей, по различию предмета, к которым оно относилось, отличалось, во всех своих подразделениях, общим отрицательным характером; оно скорее препятствовало, чем разрешало, скорее предупреждало столкновения, чем создавало обеспечения; скорее карало обман и насилие, чем обеспечивало общее богатство и благосостояние от обмана и насилия.

Новое право, напротив того, вполне положительно. Цель его наверное и вполне обеспечит человеку все, что древнее право лишь позволяло ему приобретать, полагаясь на свою свободу, но без всяких обеспечений и средств, даже не выражая, в этом случае, ни слова одобрения или порицания. Новое право положительно порицает поступки, которыми нарушаются обеспечение и общественная солидарность, поступки, которые клонятся к образу действий торгашеской анархии, скрытности, монополии, ажиотажу. Оно признает эти поступки столь же достойными порицания, как все мошенничества, вероломства, подлоги, грабежи и разбои, на которые доселе было исключительно обращено внимание закона. Говоря о вопросах страхования, спроса и предложения, установления постоянных цен, торговой добросовестности, кредита, перевозки и т. д., словом обо всем, что называется экономическими учреждениями, мы уже достаточно указали на положительный характер нового права, на новые обязательства, вытекающие из него, на свободу и богатство, которые оно приносит; повторять всего этого мы не будем.

Но если все это правда, то вероятно ли, чтобы работники, участвующие в федерации и взаимности, отказались от этих положительных, вещественных, осязательных, очевидных выгод, которые они представляют им? Возможно ли, чтобы они предпочли возвратиться к прежнему ничтожеству, исконной нищете, отсутствию солидарности и разврату? Неужели, познакомившись с экономическим порядком, они тем не менее предпочтут вновь создать себе эксплуатирующую аристократию и вызвать общую нищету, ради удовлетворения гнусных поползновений немногих?... Неужели, наконец, познав право, люди могут объявить себя против права и добровольно явиться в глазах всего света шайкой воров и разбойников?!

Если бы экономическая реформа взаимности была провозглашена в какомнибудь уголке мира, то в ту же минуту федерации возникли бы всюду, в силу необходимости. Для существования их нет надобности в непрременной сплоченности федерального союза, нет надобности, чтобы государства эти, как во Франции, Италии и Испании, были тесно сгруппированы и как бы обведены общей оградой. Федерация возможна между государствами отделенными, разобщенными и отстоящими друг от друга на значительные пространства; стоит только им заявить, что они хотят соединить свои интересы и взаимно обеспечить друг друга, по принципам экономического права и взаимности. Однажды

создавшись таким образом, федерация не может распасться, потому что, повторяю, никто не захочет отрешиться от такого принципа, как принцип взаимности, и такого договора, как договор федерации.

Итак, принцип взаимности представляет, как мы уже сказали, самую могущественную и, в тоже время, наименее грубую связь, как в политическом мире, так и в экономическом.

Ни правительство, ни община или ассоциация, ни религия, ни присяга не могут так тесно связать людей и предоставить им, в тоже время, такой свободы, как договор взаимности.

Нас упрекали, что, развивая это право, мы поощряем индивидуализм, губим идеал. Клевета! Разве где-нибудь возможно большее могущество коллективности, дающее более великие результаты? Разве можно представить себе где-нибудь больше согласия в людях? Куда бы мы ни обратились, мы всюду видим материализм группы, лицемерие ассоциаций и тяжкие цепи государства. Только здесь мы чувствуем истинное братство в справедливости. Мы проникнуты, одушевлены им, и никто не может сказать, что терпит от него принуждение, что оно налагает на него иго или малейшее бремя. Это любовь во всей своей искренности и откровенности, любовь совершенная, потому что девизом её служит правило взаимности – я чуть было не сказал торговли – сколько даешь, столько берешь.

ГЛАВА XVI. Буржуазный дуализм: конституционный антагонизм. – Решительное превосходство рабочей идеи

Мы уже знаем, в чем состоит рабочая идея, как с точки зрения интересов, так и правительства. Скажем еще несколько слов о том, чем была буржуазная идея в 1789 г. и после революции. Тогда читатель будет иметь возможность судить, зная обе стороны дела, за кем теперь политическая способность: за рабочей ли демократией, или за буржуазным капитализмом.

Выше (часть 2, глава II) мы сказали, что буржуазия достигла высшей степени самосознания в 1789 году, когда среднее сословие устами Сизэйса бросило перчатку старому обществу, спросив себя: что я такое? – ничто; чем мне следует быть? – всем. Далее мы показали, что буржуазия стала действительно всем; но именно вследствие этого, утратив самобытность, она лишилась самосознания и впала в летаргию. Наконец мы сказали, что, если в 1848, после падения Людовика Филиппа, она, по-видимому, пробудилась из оцепенения, то только благодаря возмущению рабочих классов, которые, отделившись или, скорее, отличившись от неё, достигнув самосознания и поняв свое назначение, выступили на политическую арену: словом, благодаря страху Социализма.

Но еще печальнее утраты буржуазией самосознания то, что она лишилась даже понимания управляющей ею идеи, тогда как, напротив того, рабочие классы быстро идут в этом отношении вперед; еще печальнее то, что, вследствие её глубокого ничтожества, страна и правительство, зависящие от неё, преданы совершенно на произвол судьбы. Политическую способность дает не одно только самосознание: для неё нужна еще идея; а между тем, если бы буржуазия умела читать и мыслить, она не мало удивилась бы, узнав, что идея её вполне исчерпана, что она неспособна создать ни свободы, ни порядка, короче – что у неё нет идеи.

До 89 года мысль буржуазии принадлежала к циклу феодальных идей. Почти вся земля принадлежала дворянству и духовенству, они господствовали в замках, монастырях, епископствах, приходах; им принадлежали выморочное и другие права; они творили суд и расправу над своими вассалами, воевали с королем, пока наконец, он, соединившись с буржуазией, не принудил их целым рядом поражений служить себе. Буржуазия со своей стороны господствовала в торговле и промышленности, имела свои корпорации, привилегии, вольности, мастерства; чтобы избавиться от тирании духовенства и дворянства, она заключила союз с престолом и этим приобрела некоторое значение в государстве. в 89 году пала вся эта система. Буржуазия, сделавшись в политике всем, умножила до бесконечности свои преимущества, не перестав, впрочем, торговать и промышленять, как дворянство не перестало доедать остатки своего достояния, а духовенство петь свои гимны. Идеи не стало ни у кого.

Я ошибся: идея буржуазии только развратилась.

Своими капиталами и своим влиянием на массу буржуазия стала властительницей государства; но владычество своем она видела только средство упрочить свое положение и создать себе в должностях и бюджете новое поле эксплуатации и барышей. К ней перешли все права духовенства, дворянства и короля, древних государственных чинов, и она не видела надобности изменять прежнюю монархическую, унитарную и централизационную государственную форму; она ограничилась тем, что приняла против государя некоторые меры, известные под именем конституционной хартии. И к чему ей было изменять эту систему, когда в сущности чиновники управляли для неё и через неё, для неё и через неё взимался налог, для неё и через неё царствовал король?

От неё истекало правосудие; королевское правительство было её правительством; от неё зависели война и мир, как повышение и понижение курсов; иногда ей приходилось подавлять политические замашки престола; за то она никогда долго не носила траура по династиям.

Однако, по законам равновесия, такая система политической централизации требовала противовеса. Королевскую власть ограничили, уравнили, подчинили парламентскому большинству, скрепе её собственных министров, – но всего этого казалось мало: нашли нужным еще более ограничить круг действия организма, называемого правительством, из опасения, что иначе он рано или поздно поглотил бы все. Приняли меры против прав престола; но что значило это личное право в сравнении со всепоглощающим, беспредельным могуществом системы?

Здесь-то и обнаруживается во всей своей наивности гений буржуазии.

Непомерную силу централизации уравнили с нескольких сторон. Мерами к тому были: во-первых, организация самой власти по экономическому принципу разделения труда или промышленного разграничения; во-вторых, представительная система и утверждение налога собранием выборных депутатов; в силу этой системы исполнительная власть не могла ничего предпринять без согласия законодательного большинства; наконец, в-третьих, всеобщая подача голосов. Стало несомненно, что правительство может всегда подкупить

какое угодно буржуазное большинство, и было решено, что министерству, которое имеет возможность привлечь к себе несколько сот мещан, никогда не удастся развратить весь народ... к числу мер, которыми надеялись конституционно ограничить власть, принадлежит также организация городских и департаментских управлений; но надежда эта никогда не осуществлялась. (См. ниже, часть 3. – Глава IV).

Но угадайте, что послужило самым действительным и сильным ограничением власти? Что господствует теперь, наряду с императорским абсолютизмом, над всемогуществом нации? Ничто иное, как торгашеская и промышленная анархия, экономическая путаница, свобода лихоимства и ажиотажа, принцип: каждый за себя во всей идеальности своего эгоизма, правило: *laissez faire, laissez passer* в самом широком смысле, собственность во всем безобразии древнего военного права, словом, отрицание взаимности и обеспечения, полнейшая несолидарность, смерть экономического права. Одному началу сопоставлено было другое, ему противоположное. Вот в чем тайна современной безурядицы! Оба начала, вместо того, чтобы парализовать друг друга, взаимно освящают и поддерживают друг друга. Оба они растут каждое в своей области. Стоя рядом со всепоглащающей центральной властью; отчаянный ажиотаж, неслыханные спекуляции, ужасающая биржевая игра, прогрессивное и всеобщее набивание цен – вот признаки экономической анархии.

Буржуазия играет на бирже, промышленяет, занимается судоходством, комиссионерством, даже земледелием и проч., но пуще всего старается избежать всякого соглашения, которое могло бы уменьшить риск, устранить случайность, установить ценность или, по крайней мере, воспрепятствовать крайним повышениям и понижениям цен и уравновесить выгоды между продавцом и покупателем. Буржуазия питает ужас и отвращение ко всему, что может наложить на нее обязательства, дав ей обеспечения; она отрицает экономическую солидарность; она не терпит взаимности. Предложите буржуазу вступить в предприятие на правилах взаимности, он скажет вам: нет, мне лучше остаться свободным. В каком отношении свободным? Что значит тут свобода? Значит свобода давать деньги взаймы за возможно больший процент, рискуя, что никто не возьмет их, или что, взяв, обманет на залоге; продавать с возможно большим барышем свой товар, рискуя, что придется потом продать его в убыток; наготовить как можно больше товара с тем, что, когда продажа остановится, пускать его за безценок; драть как можно больше с арендаторов, рискуя, что они обнищают и не заплатят ни гроша; свобода спекулировать на повышение и понижение, играть, предаваться ажиотажу, предписывать законы, пользоваться и злоупотреблять монополиями, рискуя подвергнуться потом еще худшей участи и, измучив ближних, сделаться жертвою их мести. Буржуаз не любит верных предприятий, если в них есть хоть малейшая доля взаимности. Он всегда хватается только за то, что обещает выгоду ему одному, лишь бы иметь малейший шанс на успех. Все ему служит поводом или средством к ожесточенной конкуренции, и он не разбирает сделанного людьми от вытекшего из необходимости вещей. Казалось бы, как легко основать на взаимности страхование, но он и его предпочел обратить в монополию.

Политико-экономы английской школы возвели в догмат эту экономическую несолидарность или, лучше сказать, этот разврат сделок, а буржуаз возвел его в принцип, в теорию, в учение. Для него не существует идеи экономического права, как дополнения и отрасли права политического и гражданского; для него это бессмыслица. Каждый для себя, каждый

за себя, Бог за всех – вот его девиз. Его экономическая наука основана не на двучленном синтетическом понятии, которое дает положительное решение и вводит справедливость в задачу выгод; она основана на элементарных, односторонних понятиях, которые сами не могут определиться и прийти в равновесие, и вследствие этого обращают науку в вечное противоречие. Например, для буржуаза нет настоящей ценности, хотя он вечно толкует о законе спроса и предложения и хотя эти два термина, спрос и предложение, предполагают существование определенной ценности, отыскание которой и составляет предмет прения между продавцом и покупателем. В глазах буржуаза ценность непременно произвольна. Видя, что она меняется, он заключает, что, следовательно, она необходимо ложна; и предположив ложь в самом понятии, он уже оправдывает всякое распутство своей совести. Поэтому, в разговорах и размышлениях об этом, он никогда не думает о равновесии ценности, о настоящей цене товаров, о нормальной таксе процента и заработной платы: нет, все эти бредни не увлекают его. Купить, если можно, за три франка то, что стоит шесть, продать за шесть то, что стоит три, зная настоящую цену и не обращая внимания на убытки, которые терпит ближний – вот его торговое правило, которому он следует без зазрения совести. Попробуйте ему сказать, что его доходы, проценты, барыши, все эти выгоды, которые при другом образе действий можно было бы, до известной степени, узаконить, что все это бесчестно – он рассердится. Он предпочитает все это завоевывать на войне, исполненной хитростей, засад, нечаянных нападений, монополий, доставляемых ему превосходством его капиталов и его торговли. При этом он уверен, что все скандальные дела, которым он предается с утра до ночи, оправдываются необходимостью, что поэтому в них нет ни воровства, ни мошенничества, кроме тех дел, которые занесены в уголовный свод!

Но что сказать об этих академических выставках, где увенчиваются юные писатели, отличившиеся в войне против Социализма защитой этих гнусных правил? Об этих лекциях и чтениях, где мстят за оскорбление собственности? Об этих мальтузианских посланиях, где излагаются отношения между политической экономией людоедов и вечными началами справедливости и нравственности?! Неужели те, которые располагают кафедрами, креслами, школами и премиями, надеются обмануть массы и надуть человеческую совесть? Жалкие софисты! У них не хватает даже ума понять, что массы, озабоченные своей нищетой, не слушают их, и что им нечему научиться от тех, кому они платят! И они смеют еще толковать об экономической нравственности, когда в течении сорока лет только и делали, что доказывали, что политическая экономия не то, что нравственность, что первая может сказать – да там, где вторая говорит – нет! Они смеют толковать об экономической нравственности, когда в их теориях только одно и ясно, что право должно быть изгнано из политической экономии, что обращение к человеческой солидарности должно считаться преступлением против науки и свободы! Посмеет ли кто-нибудь из них ответить утвердительно, когда его спросят: существует ли какая-нибудь экономическая наука или истина вне экономического права, основанного на обязательстве взаимности? Спросите их – вы увидите, что они ответят!

Возможна ли добродетель, возможна ли честность в обществе, которое признает основными следующие положения: что экономическая наука не имеет ничего общего с справедливостью; что она от неё не зависит; что идея экономического права есть утопия; что экономический порядок существует сам по себе и не основан ни на каких юридических

данных; что люди могут обещать друг другу все, что угодно, но в экономических отношениях ничем друг другу не обязаны; что, следовательно, каждый имеет право преследовать исключительно свою личную выгоду, и потому друг может законно, разумно, научно разорить друга, сын покинуть отца и мать, работник продать хозяина и проч.? Может ли в такой системе существовать уважение к собственности, могущество ассоциаций, почтение к власти, к закону? возможно ли в ней человеческое достоинство! Я мог бы наполнить целые томы разоблачением мерзостей, которые высказывали по этим вопросам самозванные экономисты, под прикрытием своей мнимой науки; но я предоставляю казнить их другим, кто помоложе меня. Благодарение богам, вероятно не окажется недостатка в людях, которые пожелают взяться за это дело.

Разврат буржуазной идеи обнаружился особенно ясно в вопросе о свободе обмена. Всякий буржуаз желает выгод в свою пользу и считает себя разоренным, если весы не склоняются в его сторону; но в тоже время всякий вопиет против страшной монополии своих собратий и находит, что нужно прекратить им покровительство. Если он наживается – это хорошо: в этом заинтересовано само общество. Но прочих справедливость требует обуздать. Тоже и в учете: всякий негодник, крупный или мелкий, все равно, был бы вполне счастлив, если бы ему обеспечили учет его векселя за подписью двух ручателей вместо трех, и по определенной таксе в % вместо 5, 6, 7, 8 и даже 9%, которые у него произвольно вымогают, захватывая его в распloch при самых трудных обстоятельствах. Сторонники взаимности хотят именно водворить навсегда такую определенность в учетах и правильность в кредите. Но постойте: ведь буржуаз рассчитывает, что не век же ему будет несчастливиться; он ждет и на своей улице праздника. Вот, после счастливой компании, ему удалось приобрести тысячь 100–200 фр. Карман набит туго; он спешит отнести деньги в банк. Но уже теперь не говорите ему об учете по 1/2 %. Он теперь богат; дела в его руках; он предписывает банкирам законы; он сам банкир. Пусть поступают, как хотят с его менее счастливыми конкурентами; пусть лихоимство всех их пожрет. Его дела идут отлично; он сближается с правительством и подает голос за министерство.

Каков буржуаз в оборотах, таков и в политике. В сущности у него нет принципов: у него только барыши. Образ мыслей его зависит от состояния курсов на бирже. Он то льстит власти, то участвует в оппозиции; то униженно заискивает, то яростно порицает; то кричит: да здравствует король, то: да здравствует оппозиция, смотря по тому, повышаются или понижаются курсы, распродают или нет его товары, смотря по тому, получит ли, по милости какой-нибудь высокой особы, крупную государственную поставку он или его конкурент, и попадет ли он, вследствие этого, в отчаянное положение, или приобретет наживу.

Политико-экономические сочинения, вышедшие в последние 30 лет, и разборы их лучше всего свидетельствуют, как низко пала эта несчастная буржуазия, в какую пропасть её повергли её государственные люди, её представители, ораторы, профессеры, академики, софисты и даже романисты и драматурги. Они постарались истребить в ней и здравый смысл, и нравственное чутье, и она назвала своими спасителями тех, кто совершил это прекрасное дело. Quos vult perdere Jupiter, dementat.

Дух равенства, стремление к уравниванию отличали французскую нацию, при выходе её из горна революции, и сделали её на полстолетия образцом для всех народов; они, казалось, готовы были слить аристократию капитала с наемщиной в единый класс, который справедливо назвали средним. К равенству права, к свободе промышленности оставалось только прибавить всесильный толчок учреждений взаимности, чтобы без потрясений произвести экономическую революцию: дорогой буржуазии Порядок не был бы ни на минуту нарушен.

Но вот уже 25 лет, как страна находится под противоположным влиянием и идет в противном направлении; торговый и промышленный феодализм одержал верх, благодаря постановлениям касательно горных промыслов, привилегии банка и особенно благодаря уступке железных дорог. Вследствие этого, средний класс с каждым днем слабеет, угнетаемый, с одной стороны, возвышением заработной платы и развитием анонимных обществ, а с другой – налогом и заграничной конкуренцией или свободной торговлей; место его занимают чиновничество, высшая буржуазия и наемщина.

Отчего происходит этот упадок среднего сословия, который влечет за собою упадок самой нации и свободы? Причина его – безрассудно принятые этим классом экономические теории, тот ложный либерализм, которым он не перестал бредить и который дал ему только правительственную централизацию, постоянные войска, парламентское шарлатанство, анархическую конкуренцию, тунеядную монополию, постоянное повышение процента, космополитизм свободной торговли, общую дороговизну и, в заключение, рабочие стачки. Но против всякого зла можно найти средство. Как дело городских рабочих есть в тоже время дело сельских (см. выше ч. I, гл. II), так точно солидарны интересы рабочей демократии и среднего сословия: хорошо было бы, если бы они поняли, что спасение их в союзе друг с другом.

Итак, мы можем сказать, что роли буржуа – капиталиста, буржуа – собственника, буржуа – предпринимателя, буржуа – правительства, с одной стороны, и рабочей демократии, с другой, совершенно переменялись. Массой, толпой, презренной чернью приходится называть уже не рабочую демократию, но скорее буржуазию. В совокупности своей, рабочий народ уже не груда пыли, как говорил Наполеон I. «Что такое общество? — говорил он. — Это администрация, полиция, суд, церковь, армия; остальное — прах». *Rudis indigestaque moles*. Теперь рабочий народ составляет сословие; он чувствует себя, рассуждает, подает голос, хотя, к сожалению, безрассудно, но все-таки по собственной воле, и уже развивает свою идею. Буржуазия же не мыслит; она обратилась в прах, в нестройную массу.

Итак, вдохновенный энергическим сознанием, увлекаемый могуществом справедливой идеи, народ является миру во всей силе и блеске органического развития, требует себе места в советах страны, предлагает среднему сословию союз, которого оно скоро будет заискивать. А тем временем, высшая буржуазия, попадая из одной политической катастрофы в другую, дошла до последней степени умственной и нравственной пустоты, разложилась в массу, в которой, кроме эгоизма, не осталось ничего человеческого. Она ищет спасителя, когда ей нет спасения; принимает на себя вид цинического равнодушия и этим заменяет себе всякий план действий. Она не соглашается на неизбежное преобразование и предпочитает навлечь на себя и на страну новые бедствия яростным отрицанием того, что приветствовала и чему поклонялась в 89 году, т. е. Права, Науки, Прогресса, короче – Справедливости.